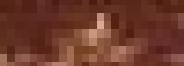


ИСТОРИЯ

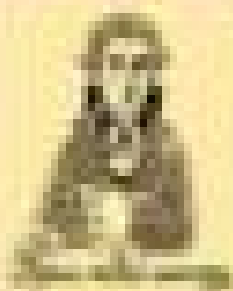
ВОСПИТАНИЯ



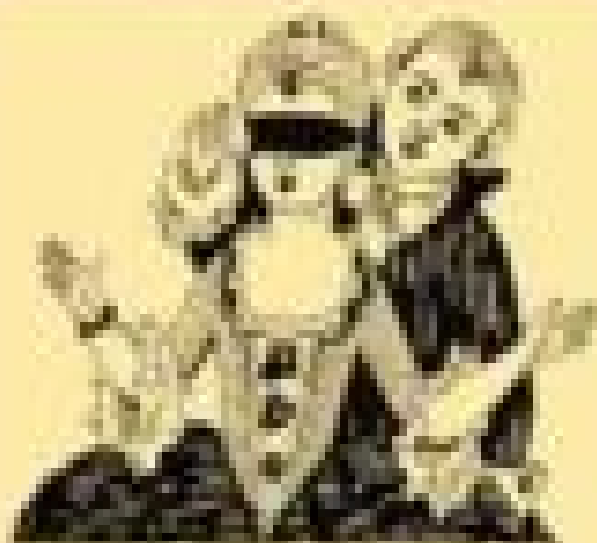
Вера Бюкова

# Отроку благочестие блюсти...

*Как нас учили дворянских детей*



Амстердам  
Амстердам



## Annotation

Как вырастить своих детей? Как их надо воспитывать, чтобы они стали образованными, достойными, порядочными людьми? Этот вопрос всегда занимал родителей. Обычно о методах воспитания судят по плодам, которые они приносят. И если мы вспомним XIX столетие, «золотой век» России, ее лучших писателей, поэтов, воинов, дипломатов, нежных и преданных их спутниц, то можно сделать вывод, что, пожалуй, лучшего воспитания, чем дворянское, в нашей стране и не было.

---

- [Отроку благочестие блюсти. Как наставляли дворянских детей](#)
  - [I. Благородное сословие](#)
  - [II. Детская половина дома и ее обитатели](#)
  - [III. «Нежное» и «грубое» воспитание](#)
  - [IV. Дети и родители](#)
  - [V. Дети и дворовые](#)
  - [VI. «Держали нас строго»](#)
  - [VII. Обучение грамоте](#)
  - [VIII. Чему еще учиться?](#)
  - [IX. Образование девочек](#)
  - [X. Как учиться?](#)
  - [XI. Главный предмет](#)
  - [XII. Родной язык](#)
  - [XIII. "Ловкость во всех телесных упражнениях" и "приятные искусства"](#)
  - [XIV. Что читать?](#)
  - [XV. Где учиться?](#)
  - [XVI. Гувернеры и гувернантки](#)
  - [XVII. Идеал воспитания](#)
  - [XVIII. "Этикетное" воспитание](#)

- [notes](#)
    - [1](#)
    - [2](#)
    - [3](#)
    - [4](#)
    - [5](#)
    - [6](#)
    - [7](#)
-

**Отроку благочестие блюсти.  
Как наставляли дворянских  
детей**

## **I. Благородное сословие**

Дворянство — «благородное сословие», как оно официально именовалось в России с середины XVIII века, — состояло из служилых людей, получавших за свою службу государству пожалования земель, чином, какой-то статьей дохода и при этом унаследовавшее определенные права и привилегии, в том числе и самое главное: владение землями вместе с живущими на них крестьянами. В военной и гражданской (статской) службе дворянство видело и свое главное занятие, и свое служение — государю, отечеству, обществу.

Вместе с тем ни внешний облик, ни положение, ни образ жизни дворянства не были едины для всех. Дворянство подразделялось на высшую аристократию, допущенную ко двору, непридворную аристократию, родовитую и достаточно высоко стоящую на социальной лестнице, но при дворе не бывавшую, средний круг и мелкопоместных, и эти группы были достаточно изолированы и мало смешивались между собою, всегда давая понять друг другу о разделяющей их границе. «Мы были ведь не Чумичкины какие-нибудь или Доримедонтовы, а Римские-Корсаковы, одного племени с Милославскими, из рода которых была первая супруга царя Алексея Михайловича», — хвасталась московская барыня Е. П. Янькова, урожденная Римская-Корсакова.

Особой прослойкой было мелкое чиновничество, которое получало дворянство по выслуге, но тоже составляло совсем отдельное общество, дружно презираемое всеми, кто претендовал хоть на какую-нибудь родовитость. В дворянском обиходе даже практиковалось деление на «барский» и «чиновничий» круги. Естественно, наличие или отсутствие семейных преданий, позволявших гордиться славными предками,

разница в социальном положении и финансовом состоянии влияли и на образ жизни, и на карьерные перспективы, и в конечном счете на то, чему и как учили и воспитывали дворянских детей.

Принадлежность к тому или иному слою дворянства далеко не в первую очередь зависела от Табели о рангах. Даже очень высокое социальное положение и личная дружба императора не могли поднять человека на соответствующую ступень в глазах общества, если не дополнялись другими факторами. (Так, не сделались своими в среде аристократии ни А. А. Аракчеев, ни М. М. Сперанский, несмотря на их большую близость к императору Александру I.) При определении «истинного места» дворянина заслуги, конечно, учитывались, но отнюдь не играли главную роль. Зато очень важным считались происхождение («порода»), место службы, родственные связи, а главное — внешний лоск, то, что принято было называть «хорошим тоном»: бытовой уклад, образ жизни, знание французского языка и хороший выговор, манера себя держать, покрой платья, владение светским жаргоном, гигиенические привычки (чистое белье, ухоженные руки и т. п.). В то же время приобрести такой внешний лоск можно было лишь в соответствующем окружении, и ни одна, даже самая искусная, гувернантка не способна была превратить неотесанного деревенского барчука в маленького вельможу, если его родные и соседи не могли похвастаться утонченными манерами.

Дальше мы будем говорить в основном о средних и высших слоях дворянства, воспитание и образование которых в наибольшей степени выражали все особенности сложившейся в этом сословии воспитательной модели.

## **II. Детская половина дома и ее обитатели**

На протяжении большей части XVIII и XIX веков дети в дворянской семье вовсе не играли главной роли. Скорее, их воспринимали как дополнение к миру взрослых и потому держали в строгости и даже несколько «в загоне».

Как вспоминал граф В. А. Соллогуб, «в то время любви к детям не пересаливали»; дети тогда «держались в подобострастии, чуть не крепостном праве, и чувствовали, что созданы для родителей, а не родители для них».

Действительно, детей в семьях рождалось много: на протяжении XVIII и первых десятилетий XIX века вовсе не редкостью были матери, произведшие на свет 10–15 и даже 20 младенцев. Очень высока была и детская смертность. Не только в рядовом дворянстве — даже в императорских семьях, которых лечили лучшие медики, далеко не все дети доживали до взрослого возраста. Из двенадцати детей, родившихся в двух браках у Петра I, дожили до сколько-нибудь зрелых лет, по сути, двое: царевич Алексей Петрович и Елизавета Петровна, а из одиннадцати детей Павла I, также женатого дважды, перешагнули двадцатилетний рубеж шестеро.

Дети умирали при появлении на свет, гибли от детских болезней, их косили эпидемии и несчастные случаи. В общем, если из пятнадцати рожденных выживало пятеро, родители считали это милостью судьбы.

И частые похороны младенцев воспринимались философски, с христианской покорностью: «Бог дал — Бог и взял»; «Один умер — другой народится». Конечно,

родители, особенно матери, печалились какое-то время, но недолго — до следующей беременности.

К смерти ребенка не относились как к непоправимой трагедии, за исключением тех случаев, когда умирали все родившиеся дети. Вот это уже было серьезно, и в таких семьях каждого новорожденного изо всех сил старались «удержать» на этом свете: всячески холили и лелеяли, кутали и берегли, следили за каждым шагом и всяким признаком возможной болезни — лишь бы выжил, лишь бы с ним ничего не случилось. Но все же подобных случаев, то есть когда дети «не стояли», как тогда выражались, было не очень много, и преобладали многодетные семьи. У известного публициста и общественного деятеля Б. Н. Чичерина было семеро братьев и сестер с разницей в возрасте в 11 с половиной лет; у историка В. В. Пассека, приятеля А. И. Герцена, шестнадцать братьев и сестер; у общественной деятельницы и писательницы М. К. Цебриковой — одиннадцать братьев и сестер, причем старшему, когда она родилась, исполнилось уже 23 года; у князей Репниных из восьми родившихся детей четверо умерли в детстве; у Капнистов родилось пятнадцать, в живых осталось шестеро; у Полторацких было двадцать два ребенка. Известный поэт Я. П. Полонский вспоминал: «У бабушки моей было восемнадцать человек детей, но большая часть из них умерла от оспы». У самого Полонского было еще семеро братьев и сестер, из которых один умер маленьким. В семье декабриста И. И. Пущина, кроме самого Ивана Ивановича, было еще одиннадцать человек детей. Подобные примеры можно множить до бесконечности. Даже в конце XIX века, когда детская смертность в высших сословиях заметно снизилась, однодетная семья продолжала оставаться редкостью. Нормой было иметь от трех до пяти отпрысков, но нередко



встречалось и более многочисленное потомство (как известно, у Льва Толстого было тринадцать детей).

В большинстве дворянских семей на недорослей смотрели в основном как на постоянный источник заботы, шума и причину дополнительных расходов. Родительские чувства проявляли сдержанно и спокойно, как приличествовало хорошо воспитанным людям. И в семейной иерархии, построенной по патриархальной модели, детям отводилось невысокое место: ниже всех взрослых членов семьи, домочадцев и даже привилегированной дворни — примерно на уровне большинства дворовых, шутов и приживалок.

Как и всякому другому члену семьи, ребенку выделяли собственное пространство — детскую «половину», которая располагалась либо в жилой части дома — к примеру, на антресолях, либо в отдельном флигеле. Размеры и обстановка детских комнат зависели от числа детей и от размеров дома и возможностей родителей.

Так, сын богатейшего магната графа Д. Н. Шереметева Сергей Дмитриевич, долго остававшийся к тому же единственным ребенком, жил в просторных и комфортабельных комнатах: «Помещение мое состояло из трех комнат, все окнами в сад. Спальная в два окна, гостиная в три, и комната Шарлотты Ивановны (гувернантки). Чтобы попасть ко мне, нужно было проходить через эту комнату. Рядом узкая передняя с дверью в сад, которая весной всегда выставлялась. Любил я очень ковер моей гостиной — зеленый с какими-то мелкими цветочками. В простенках между окнами стояли шкафчики со старинным серебром, взятым из кладовой (кубки, братины и прочее). В спальней перед зеркалом стояли часы Луи XVI с маятником, на котором был медальон Веджвуд, а на стене висел портрет деда Николая Петровича. В углу стоял киот, а между ним и печкою

моя кровать. Комната делилась надвое ширмами, комодом и шкапом для детской одежды. Перед печкою экран, на котором вышита была собака. В гостиной стоял угловой диван, наподобие турецкого, занимавший весь угол и две стены комнаты. Над ними висели гравюры и несколько картин Орловского».

Однако в большинстве домов детские были невелики и обставлены очень просто. Я. П. Полонский вспоминал о своей маленькой детской комнате, облепленной по стенам лубочными картинками, с кроваткой под ситцевым пологом. Окно ее выходило «на двор с собачьей конурой».

Народу в детских было довольно много. Почти всегда дети младшего возраста обоего пола — от рождения до трех-пяти лет — помещались в одной комнате вместе со своими кормилицами и няньками. После пяти лет детей «отделяли» — обычно девочек в одну комнату, мальчиков в другую, и там они находились все вместе, пока не становились подростками. Лишь в 12-15 лет ребенок получал отдельную комнату (и ту чаще делил с братом или сестрой близкого возраста). При домашнем обучении рядом с детскими выделяли помещение и для классной комнаты.

Детская половина обычно находилась недалеко от комнат матери, что облегчало ей контроль за тем, что там происходило.

Е. А. Жуковская, супруга известного поэта В. А. Жуковского, рассказывала в письме: «Утром дети играют у себя в своей комнате, которая подле гостиной, так что я слышу все, что у них делается. У них есть ковер и детская мебель. Саша (дочь) занимается своими куклами, за которыми ухаживает так, как ухаживают на ее глазах за братом. Павел ползает по всей комнате за своей тележкой или другой какой-нибудь игрушкой».

Сам Василий Андреевич добавлял: «Теперь они могут уже играть вместе с братом, но игра часто превращается в драку, и они часто так царапаются, что, наконец, дабы спасти их глаза, надобно употреблять красноречие розги».

Встречались, однако, и дворянские дома, в которых родители старались максимально отделиться от детей. Ведь от них было столько шума, беспокойства, неприятных запахов. Поэтому детские комнаты нередко устраивали в самой отдаленной части дома — где-нибудь на антресолях, поближе к черной лестнице, там, где отпрыски не очень мешали занятиям отца и светскому общению матери.

О таких горе-матерях с негодованием писал Д. И. Фонвизин: «В учреждении комнат первое внимание обращает она всегда на то, чтоб детская была гораздо далее от ее спальни, ибо крик малолетних детей ей нестерпим, хотя она нимало не скушает лаем трех болонских собачонок и болтаньем сороки, коих держит непрестанно подле себя».

Однако и много позднее времен Фонвизина, как свидетельствовала М. К. Цебрикова, подобная ситуация не являлась редкостью: «Детей забивали в самую маленькую и неудобную комнату, подальше от парадной половины, пропитанную кухонным чадом и всякими миазмами. Дети так надоедали шумом, мешали занимать гостей, для которых, собственно, и был устроен весь обиход. Я живо помню, как одна барыня, на замечание моего отца, что детская сырая и темная комната и что детей можно поместить в ее спальне, а спальню перевести в будуар, без которого можно обойтись, — отвечала: „Вот еще! Стану я себя стеснять для детей!“»

Вплоть до середины XIX века почти никто из женщин-дворянок, во всяком случае среднего и высшего круга, не кормил детей грудью. Это, как

уверяли медики, было вредно. Нервной и малокровной особе (а большинство барынь охотно считали себя именно таковыми) кормление ребенка, дескать, может только навредить, отнимая и без того слабые силы. Кроме того, кормление безнадежно портило фигуру, да и просто считалось для благородной дамы неприличным. Когда десятилетняя Екатерина Бахметева, подсмотрев, как кормилица кормит младенца ее кузины, заявила, что своих детей будет кормить сама, это вызвало у ее гувернантки настоящий шок и девочка была наказана. Ее нарядили в платье кормилицы и пригласили всех над ней посмеяться.

Надо сказать, что европейские моралисты и педагоги уже во второй половине XVIII века призывали просвещенных матерей не пренебрегать кормлением, указывая на возникающую при этом взаимную нежную привязанность матери и ребенка, но советам этим следовали нечасто. В 1800-х годах высокообразованная княгиня В. А. Репнина сама кормила грудью троих детей, однако при кормлении младшей дочери через шесть месяцев у нее сделался мастит, молоко пропало, и ребенка перевели на козье молоко. Больше она сама детей не кормила, передоверив это дело, как и все прочие женщины ее круга, кормилицам.



Здоровой крестьянке, привычной к тяжелому труду и грубой пище, кормление навредить не могло, более того, молоко крепкой и сильной деревенской женщины приносило младенцу несравненно больше пользы, чем молоко слабой и болезненной матери. Брали на должность кормилицы молодых женщин, как правило,

из собственных крепостных. Должность эта в деревне считалась завидной: и сама кормилица на несколько месяцев погружалась в поистине райскую жизнь «в бездельи» и на всем готовом, и семья ее получала разные льготы и послабления; после завершения своей миссии кормилица еще и щедро награждалась, а ее домашние избавлялись от крепостных повинностей. Да и подрастающий выкормыш связей со своей молочной матерью не порывал: она всю жизнь пользовалась почетной привилегией сидеть в присутствии хозяев, получала подарки к именинам и праздникам, могла во всякое время обратиться к барину с барыней с ходатайством или просьбой, в которой редко отказывали.

Поэтому на должность кормилицы всегда находилось много желающих, даже устраивался настоящий конкурс, в котором побеждала самая полногрудая, румяная и чистоплотная претендентка. Приходила она в барский дом с собственным ребенком — обычно того же пола и на несколько месяцев старше барского дитяти, но кормить отныне должна была только барчука — свой переходил, как бы теперь выразились, на искусственное вскармливание (коровье или козье молоко), которое обеспечивала во время отсутствия матери специально приставленная к кормилицыну ребенку дворовая девчонка.

Кормилицу обряжали в специальный, «присвоенный ее званию» костюм: тонкого полотна или батистовую, довольно открытую рубашку, сарафан дорогой материи, обшитый золотым позументом, и парчовую кикку или кокошник. С этого времени она должна была много отдыхать, хорошо питаться и неотлучно находиться при младенце, во всякое время готовая при необходимости дать ему грудь. Первые месяцы она и гуляла с ребенком — сперва носила его на руках или возила в коляске, потом водила за ручку.

Грудное вскармливание продолжалось очень долго, более года, а в XVIII веке порой и лет до трех (так, на третьем году был отнят от груди будущий великий драматург Денис Фонвизин — и сразу после этого его принялись учить грамоте). После его завершения кормилицу отпускали. Ее ребенок считался молочным братом или сестрой барчука и, как и мать, пользовался всевозможными льготами. Довольно часто через несколько лет такого молочного брата брали в услужение к маленькому дворянину и они росли вместе, составляя впоследствии классическую для русского быта пару — добродушного барина и преданного, слегка фамиллярного слугу. Известен, в частности, такой тандем, состоявший из драматурга и дипломата Александра Сергеевича Грибоедова и нежно им любимого слуги, его молочного брата, тоже Александра, и притом даже с похожей фамилией — Грибов. Многие годы они были неразлучны, ворчали друг на друга, вместе ездили в Москву, в Грузию, в Петербург, вместе и погибли в Тегеране, в разгромленном фанатичной чернью русском посольстве.

Няньку приставляли к дворянскому ребенку также сразу после его рождения, и, пока барчук подрастал на руках у кормилицы, в ее обязанности входило, так сказать, хозяйственное обеспечение маленького мирка детской. Она следила за чистотой, состоянием белья, детской посудой, готовкой, освещением и отоплением, командовала приставленной к детской прислугой и присматривала за кормилицей.

В некоторых случаях няней становилась сама кормилица — и тогда ее частенько называли по-старинному «мамой».

О такой няне вспоминала дочь известного поэта В. В. Капниста С. В. Капнист-Скалон: «Мы жили с няней, старушкой доброй и благочестивой, которая, выкормив грудью и старшую сестру мою, и старшего брата, так

привязалась к нашему семейству, что, имея своих детей и впоследствии внуков, не более как в 14 верстах, не оставляла нас до глубокой старости своей и похоронена близ умерших братьев и сестер моих на общем семейном кладбище нашем». Мать «так уверена была в преданности и усердии и опытности этой доброй женщины, что и отдала нас на ее попечение».

Вообще же к детским комнатам бывал приставлен целый штат прислуги, и чем знатнее была семья, тем больше народу занималось детьми. В императорской семье каждому ребенку полагались английская бонна, две дамы для ночного дежурства, четыре няньки или горничные, кормилица, два камердинера, два камерлакея, восемь лакеев и восемь истопников.

О большом штате вспоминал и граф С. Д. Шереметев: «Со мной был в то время отдельный штат прислуги: две девушки, Александра Ячейкина, Прасковья Шелошенкова, повар Брюхоненко с помощником, дядька Яков Шалин (из данауровских крестьян), лакеи Арнаутовский, Иван Жарков».

А при маленькой княжне Лизе Репниной, отличавшейся слабым здоровьем, состояли доктор-итальянец (как вспоминал граф М. Д. Бутурлин, домашними медиками у аристократов могли быть только иностранцы; «о русских же врачах и помину тогда не было в большинстве аристократических домов»), русская сиделка, няня, кормилица, прачка, кучер, горничная и лакей.

Такое многолюдье вокруг дворянских детей являлось своего рода рудиментом старинного, еще допетровского воспитания, традиции которого жили в дворянстве очень долго. Во всяком случае, большую часть XVIII века редкая, даже скромного достатка, дворянская семья обходилась без целой толпы кормилиц, мамок, нянек и прочих членов женской прислуги, неусыпно заботившихся, чтобы барское дитя



росло в холе, в бережи, сытно ело и сладко пило, ни в чем не знало отказа и повсечасно развлекалось всякого рода забавами и утехами.

В аристократических семьях уже с последней трети XVIII века старались завести няню-иностранку, так называемую бонну (ей вменялись и воспитательные обязанности). Лучшими считались бонны-англичанки (они пользовались репутацией самых «правильных» нянь) и немки (эти были самыми чистоплотными). С младенчества общавшийся с носительницей другого языка, барчук сразу начинал говорить и по-русски (на языке кормилицы и другой прислуги) и по-немецки или на другом языке, на котором общалась с ним бонна. Впрочем, и при русскоговорящей няне можно было знать два языка — при условии, что родители и другие родственники достаточно часто посещали младенца и много говорили при нем, к примеру, по-французски. Именно так произошло, в частности, с А. С. Пушкиным, который заговорил сразу на русском и французском языках.

В некоторых случаях иностранку приглашали и по иным причинам — гигиеническим. Случалось, что няньки затыкали рот плачущему младенцу соской из нажеванного самой же нянькой хлеба, завернутого в первую попавшуюся тряпицу, или кормила его пищей, которую тоже сама предварительно разжевывала. Все это было принято делать в деревне, но в дворянском доме вызывало понятное негодование.

Известный географ П. П. Семенов-Тянь-Шанский вспоминал: «Очень скоро родители пришли к убеждению, что пришла пора заменить русских нянек немкою», и по очень простой причине: «не нравилась им (русским нянькам) в особенности та чистота и опрятность, которых от них неустанно требовала моя мать. „Статочное ли это дело, — говорила Анфимья

(одна из нянек), — что и на стенки-то плевать не позволяют“».

Именно поэтому в няни предпочтительнее брали дворовых, давно живших в господском доме и успевших «обтереться» и отучиться от деревенских манер и привычек.

После того как из жизни младенца уходила кормилица, няня на несколько лет становилась для него самым важным человеком. Именно она кормила его с ложечки, дула на разбитые коленки, поила липовым цветом при простуде, утешала и ласкала, рассказывала сказки и учила первым молитвам. Родители представляли собой высшую власть, а нежность и ласку ребенок получал в основном от няни.

Няня «одна, как умела и как могла, любила и ласкала нас, ее одну мы могли любить и ласкать без стеснения», вспоминала революционерка В. Н. Фигнер, а педагог и мемуаристка Е. Н. Водовозова добавляла: нянины «радость и горе были исключительно связаны с нашей жизнью».

Именно к ней обращался питомец с бесконечными детскими вопросами. «„Что это гремит? — спрашивала я. — Что это блестит?“ — „Илья-пророк ездит на огненной колеснице“, — отвечала мне, крестясь, Катерина Петровна; я удовлетворялась ее ответом и ожидала увидеть когда-нибудь огненную колесницу».

«Любознательность моя все больше и больше пробуждалась, — рассказывала Т. П. Пассек, автор известных воспоминаний „Из дальних лет“, подруга А. И. Герцена, — и вопросы одни за другими возникали и теснились в душе. Я стала приставать с ними то к тому, то к другому, но редко получала удовлетворительные ответы. Должно быть, не знали, что ответить, и поэтому отделивались или поговоркой „много будешь знать — скоро состаришься“, или „учись, сама все узнаешь“. А мне хотелось знать сейчас же: „Что такое небо, кто на

нем живет, откуда приходят месяц и солнце и куда уходят; что такое звезды; отчего дождь, отчего снег, как трава растет“. Не получая ответа от старших, за разрешением этих вопросов я обращалась к Катерине Петровне, она не озадачивалась ничем. „На Небесах, — говорила она, — живет Господь Бог со святыми, с ангелами и херувимами; что же они там делают — нам почему знать, на небо никто не лазил; а откуда все берется, куда девается, на это власть Господня; если так есть, стало быть, так и надобно, — и что это тебе за охота, — добавляла она, — дознаваться, что да зачем, куда да откуда, знала бы свое детское дело“».

Тепло вспоминала о своей няне и С. В. Капнист-Скалон: «Помню... что, вставая с восхождением солнца, няня наша долго молилась перед образом св. мучеников Антония и Феодосия, висевшем в углу нашей комнаты, и клала земные поклоны с усердием и с большим умилением; потом будила нас, одевала и, после короткой молитвы вслух, которую сама нам подсказывала, напоив нас молоком или чаем из смородинного листа, отсылала старших братьев со старым слугой Петрушкой в дом к матери нашей, а с нами, в награду за послушание, надев нам через плеча мешочки из простой пестрой материи, спешила идти в лес собирать, по желанию нашему, если это было осенью, между листьями упавшие лесные яблоки, груши и сливы, которые и сохраняла в зиму...Как часто добрая няня наша, не находя средства следить разом за обоими нами, для своего спокойствия связывала наши руки платком; тогда по необходимости мы должны были бегать вместе, и это казалось нам еще веселее...Так как мы с братом были очень схожи и как нас одевали всегда в одинаковые женские платьица, то нас и принимали часто сторонние люди за двух девочек».



От няниных забот, как считалось, зависело не только душевное, но и физическое здоровье ребенка и даже его телесные особенности.

Писательница М. Ф. Каменская в своих воспоминаниях рассказывала про знакомую семью: «Странная особенность была в их детях: они через одного были очень долгоносые или совсем курносенькие. И Василий Иванович, смеясь, часто говорил, что профиль у людей зависит от няnek, что у них нянька Настенька, которой попал на руки первый сын Коля, сморкала его, поднимая платком нос кверху, а нянька Марфа, которой по очереди досталась вторая дочь Анюта, сморкала ее книзу, высморкает и еще

потянет сильно раза два за нос... И точно, за длинноносою Нютой следовала курносенькая Соничка, за нею долгоносый Костенька, а за ним прелестный ребенок Вася с маленькой пуговкой вместо носа».

Во всяком случае, хорошая нянька должна была следовать в обращении с ребенком, особенно маленьким, целому ряду правил: не подносить что-нибудь слишком близко или высоко к глазам младенца, чтобы не было косоглазия, не носить его постоянно на одной руке, чтобы не искривилась шея, беречь от слишком яркого света — дабы не появилась привычка к морганию, следить, чтобы ребенок держал голову прямо, — не то будет зоб и т. д.

В отличие от бонны, которая, выпестовав детей в одной семье, чаще всего переходила на другое место, собственная крепостная нянька навсегда оставалась при господах; она присматривала за хозяйством, держала у себя под замком и выдавала по мере надобности наиболее дорогие припасы — кофе, сахар, чай, а нередко и делила со своими питомцами все превратности их судьбы. Та же М. Ф. Каменская рассказывала про няньку своего отца, известного художника-медаляера графа Р. П. Толстого — Матрену Ефремовну, которая до конца жизни опекала и обихаживала уже взрослого воспитанника, особенно поддерживая его в те годы, когда Федор Петрович учился в Академии художеств, что по тем временам — начало XIX века — считалось делом совершенно не графским и впоследствии рассорило художника с шокированной подобным «вольнодумством» аристократической родней («Как простой ремесленник!» — ахали его дядюшки и тетушки).

Толстому пришлось уйти из дома, жить на съемной квартире и пробиваться своими силами. «Матрена Ефремовна царствовала в доме воспитанника своего деспотически: жалованье его отбирала до копейки и

распоряжалась всем по своему усмотрению. Кормила графа сладко и одевала хотя по его вкусу, но по-барски».

Оставалась старая нянька в своей должности и после того, как ее питомец женился и обзавелся собственными детьми: продолжала править его домом, держала у себя все ключи, гоняла слуг и то и дело выговаривала графу Толстому за его неподобающие (по ее мнению) знатному господину поступки.

«Ему было уже за 50 лет, — рассказывала М. Ф. Каменская, — а ей и все 80, и если он, как-нибудь заработавшись, забудет зайти к ней утром поздороваться или вечером проститься, то она уже непременно попрекнет его словами: „Что не зашел вчера? Заважничал, нос задрал...“»

Воспоминания о нянях зачастую становились самыми прочувствованными страницами дворянских мемуаров.

«Какие кроткие картины пробуждаются в душе моей при воспоминании о моей няне, — писала Т. П. Пассек. — Небольшая ростом, с тихим, необыкновенно добродушным выражением лица, с ласковым голосом, она в своей темной ситцевой юбке с кофтой и беленьком миткалевом чепчике была необыкновенно симпатична...

Привязанность моя к ней доходила до болезненности. В младенчестве моем я почти ни на шаг не отпускала ее от себя, не сходила у нее с рук; обнявши ее и прижавшись к ее груди, укрывалась от всякого рода детских невзгод. Когда она выходила из детской, я в исступлении бросалась за нею или, уцепившись за подол ее юбки, тащила по полу.

Мать моя, добродушная, но пылкая и порывистая, не могла выносить равнодушно такого зрелища. Если я попадалась ей на глаза в подобную минуту, она хватала меня как ни попало — за руку, за ногу, вытаскивала в

другую комнату, летом на террасу и секла прутом. Няня бросалась за мною, со слезами умоляла мать меня помиловать, обещалась за меня, что „вперед не буду“, и, если ничто не удавалось, прикрывала меня своими старыми руками и принимала на них предназначенные мне удары розги. Высеченную — уносила в детскую, утешала, приголубливала и развлекала игрушками или сказкой. Сказок она знала множество и своим простым умом и сердцем верила в истинность этих рассказов. Слушая ее, я отдыхала и от боли, и от горя и вместе с нею отдавалась дивному повествованию или, убаюканная им, засыпала на ее коленях.

Вечером, укладывая меня в постель, она тихо творила молитву перед образком, висевшим в головах моей кровати, крестила меня, брала стул и садилась подле; клала на меня руку, чтобы я, засыпая, не встрепенулась, испугавшись чего-нибудь, и начинала или рассказ или пела, как у кота колыбелька хороша, а у меня и получше того, или как ходит кот по лавочке, водит кошку за лапочки, и я, не спуская с нее глаз, тихо засыпала. Утром, проснувшись, встречала тот же исполненный мира и любви взор, под которым заснула».

Потом с няней пришлось расстаться: при разделе имения она отошла к другому владельцу. «Когда она стала прощаться со мной, — рассказывала Татьяна Петровна, — ее едва оттащили, я же, как мне рассказывали, была вне себя от отчаяния, кричала, билась, каталась по полу и от тоски так сильно заболела горячкой, что едва осталась жива».

Более повезло М. В. Беэр, урожденной Елагиной. Ее няня, отпущенная (вместе с мужем) на волю задолго до отмены крепостного права, оставалась в ее жизни до самого конца.

«А няня моя! Моя чудная милая няня! Сколько уюта вносила она в жизнь, как она беззаветно любила нас. Помню, как одно нянино присутствие

успокаивало и утешало меня. Когда я была маленькая, я страшно боялась грозы. Это был чисто нервный, мучительный страх, отравлявший мне жизнь. Помню, все собираются ехать за шесть верст за грибами, подается долгуша. А из-за сада надвигается грозовая туча, и уже гремит гром. Душно, жарко и невыносимо страшно. Вдруг выходит няня с корзинкой, садится в долгушу, я рядом с ней, няня берет меня за руку. Мне становится спокойно и ясно на душе, является сознание, что няня меня укроет от всякой беды. И это влияние няни оказывала на меня всю мою молодость и в тяжелые часы испытаний, когда в 1855 году слегла моя страстно любимая мать, брат умирал в чахотке, его усылали доктора за границу, и мы прощались с ним на вечную разлуку. Няня поддерживала меня: с ней ходили мы в церковь Спаса на Песках и горячо молились. Бог был к нам близко».

И во всех других невзгодах Мария Васильевна приходила к няне, «садилась к ней на постель, она укрывала меня, утешала, приносила мне чаю, и ее простые, мудрые слова поддерживали меня... Когда же настала для моей няни тяжкая пора, когда в 75 лет с ней сделался удар, и она стала слабеть телом и духом, роли наши переменились, няня, как ребенок, стала успокаиваться от своих страданий только в моем присутствии. Войду в комнату, возьму ее за руку, и ей становится легче».

И даже если отношения между нянькой и воспитанником не были в дальнейшем такими близкими, няня все равно оставалась в доме на особом положении. Ее — в числе немногих привилегированных слуг — звали по имени-отчеству, у нее была собственная отдельная комната («как у барыни»), в то время как все прочие слуги спали в общих помещениях, и бывшие питомцы питали к ней самые теплые и нежные чувства, уважали и слушались.



Впрочем, следует добавить, что не только русские крепостные няни, беззаветно преданные своим маленьким воспитанникам, становились объектом их пылкой привязанности. Нередко и с боннами-иностранками складывались нежные, теплые, совершенно родственные отношения, о которых сохранялась долгая и благодарная память.

Большинство нянек в дворянских домах были преисполнены сознанием знатности и высокого положения своих хозяев, и даже своего рода аристократической спеси, едва ли не больше, чем сами господа, твердо знали, как подобает и не подобает вести себя дворянскому ребенку, и потому уже на самой ранней стадии воспитания пресекали в нем «мужицкие замашки».

Как вспоминала о нянях в своем доме М. В. Беэр: «Это были истинно верные, прекрасные люди, ревниво охранявшие детей, не только от физического ущерба, но, главным образом, от нравственной порчи. Они строго следили, чтобы при нас никто не выругался, не сказал чего неприличного, они сумели внушить нам любовь к простому народу, вложили в нас простые, чистые понятия».

«Тогда я любила няню больше всех, — добавляла она. — Помню, что раз я ей про это сказала, и она меня остановила: „Нет, Машенька, надо маму любить больше меня“. И мне показалось, что я совершаю грех, любя няню больше всех».

Пока дети росли, и кормилицы, и няньки жили вместе с ними в детской комнате, устраиваясь на ночлег где-нибудь на сундуке, на печной лежанке или даже — как большинство дворовых слуг — прямо на полу, на войлочной подстилке. Я. П. Полонский вспоминал: «Войлок в то время играл такую же роль для дворовых, как теперь матрасы и перины, и старуха Агафья Константиновна — высокая, строгая и

богомольная, нянька моей матери, и наши няньки и лакеи — все спали на войлоках, разостланных если не на полу, то на ларе или сундуке».

Бонны обычно имели собственную комнату, находившуюся возле детской. Эта заметная бытовая разница задавала различие статуса русских и иностранных воспитателей и челяди в дворянском доме.

Мальчик-дворянин оставался на руках у няни примерно до пятилетнего возраста, после чего к нему приставляли «дядьку» — со сути своей, тоже няньку, только мужского пола.

Дядькой мог быть как русский, так и иностранец (как у маленьких Иртеневых из толстовского «Детства») — в последнем случае он обеспечивал мальчикам языковую практику.

В обязанности дядьки входило привносить в первоначальное воспитание барича мужской элемент. Как и няня, дядька заботился о всей бытовой стороне жизни питомца: поднимал его утром и укладывал вечером, водил его на половину родителей, следил за чистотой и опрятностью, за состоянием здоровья, развлекал, сопровождал в поездках и на прогулках. Нередко именно от дядьки мальчик выучивался верховой езде и перенимал страсть к охоте.

Поэт Афанасий Фет вспоминал о своем дядьке Филиппе Агафоновиче: «Старик на прогулках, конечно, не мог поспеть за резвым мальчиком, величайшим удовольствием которого было забежать по саду вперед и взлезть на самую макушку дерева. Я приходил в восторг, когда приспевший Филипп Агафонович, воздевая руки, отчаянно причитал: „Ах, отцы мои небесные! что же это такое!“

Натешившись отчаянием старика, я с хохотом соскакивал с дерева. Но такие проказы случались

редко: большею частию старик умел занять меня своими рассказами...

— Были мы, — говорил он, — с вашим папашей на войне в Пруссии и Цезарии. Вот дяденьку Петра Неофитовича пулей в голову контузили, а нас-то Бог миловал.

Хотя я и не без усилий читал главнейшие молитвы, но Филипп Агафонович умел упросить меня возобновить это чтение, которое, конечно, ему было приятнее беготни по саду и по лесу.

— Которую же вам прочитать, Филипп Агафонович? Вот эту, что ли? — говорил я сидящему у стола с шерстяным на толстых медных спицах чулком в руках: — Эту, что ли, „Верую во единого“?

— Эту самую, батюшка, — отвечал Филипп Агафонович, продолжая как бы медленно читать по книжке: — Бога, Отца, Вседержителя...

— Филипп Агафонович, да разве вы умеете читать?

— Как же, батюшка, — говорил старик, в действительности совершенно неграмотный, — да вот глаза больно плохи, так уж вы мне, батюшка, от божественного-то почитайте.

И, преодолев с величайшим трудом „Верую“, я переходил в бесконечному: „Помилуй мя Боже“...»

Многие дядьки были не только набожны, но и хорошо грамотны. Иные могли даже обеспечить баричу первоначальное обучение. Так, к чиновнику Д. Н. Свербееву в пять лет приставили в дядьки крепостного человека. Будучи тоже очень набожным, он учил барича вере и грамоте, церковной и гражданской, а также пению с голоса божественных и народных песен. Свербеев также запомнил на всю жизнь пословицы, которые тот постоянно вставлял в свою речь.

Офицер А. М. Загряжский вспоминал, как он учился с полностью неграмотным дядькой:

«Приказано ему было, чтоб я под его надзором продолжал учение, что он и исполнял в точности. В это время я едва мог читать и худо писал, но в назначенное время он меня сажал читать, сам сидел безотлучно, повторяя: читайте, батюшка. Я не знал, что читал, а он не понимал, и оба проводили так часы моего ученья. Потом заставлял писать, уговаривая страничку написать хорошенько — „повезет кататься“. Нередко бывало заложат дрожки и дожидаются конца моего урока, но как бы я ни старался, да к несчастью ежели капнул или как нечаянно замарал, то уже никакие уверения не могли его уговорить. Дрожки отъезжают, а мне твердит: „зачем капнули“. Итак, я за все старание награждаюсь своими слезами. Вот как приохочивали меня к ученью».

После того как в жизни ребенка появлялся гувернер, роль дядьки отходила на второй план. Хотя он обычно не покидал воспитанника до его взросления, но исполнял уже преимущественно хозяйственно-служебные, а не воспитательные функции. Был одновременно и камердинером, и дворецким, и своего рода управляющим барича и зачастую оставался в этом качестве и при уже выросшем питомце, подобно знаменитому Никите Козлову, дядьке А. С. Пушкина.

Козлов был старше поэта примерно на 20 лет и стал дядькой еще молодым человеком (женой его была дочка пушкинской Арины Родионовны). Служил он Пушкину и до Лицея, и после, с 1817 года; был ему очень предан. Из-за Никиты Пушкин однажды едва не подрался на дуэли со своим бывшим однокашником М. А. Корфом, который посмел ударить слугу. Вместе с Никитой Тимофеевичем Пушкин был в южной ссылке. Он даже стихи Козлову посвящал.

В последние годы жизни поэта Козлов жил у него в Петербурге, помогал при издании «Современника», отвозил рукописи то в цензуру, то в типографию. На его

же долю выпала «печальная честь» перенести раненного на последней дуэли Пушкина из кареты в дом («Грустно тебе нести меня?» — спросил его поэт). Потом Никита Тимофеевич сопровождал тело в Святогорский монастырь, «не отходил почти от гроба, не ел и не пил».



Подобная преданность крепостных дядек вызывает сейчас восхищение, но в XIX веке многие моралисты почитали ее чрезмерной и для юного дворянина отнюдь не полезной: «Начиная с заботы думать о пище, питье, одежде и книгах, ребенок мало-помалу предоставлял своему дядьке думать и обо всем его хозяйстве, а иногда и обо всем в его жизни, оставляя себе на долю одни только наслаждения, без труда. Барство, т. е. возможность заставлять других делать то, что самому легко исполнить, поселяло в ребенке беззаботность, апатию и презрение не только к труду, но и ко всякому человеку, одной или несколькими ступенями ниже его стоящему на общественной лестнице».

Определяли в дядьки мужчин семейных, благообразной наружности, хорошей нравственности, совсем или почти не пьющих. В дворовой среде должность дядьки считалась тоже очень почетной.

### **III. «Нежное» и «грубое» воспитание**

Физическое воспитание дворянских детей долго колебалось между двумя полюсами: крайней изнеженностью и почти спартанской суровостью.

Чрезмерная холя и баловство восходили к тем памятным еще в начале XIX века временам, когда под словом «воспитание» вообще понимали в основном «питание». «Родители мои имели о сем слове неправильное понятие, — писал в одном из своих сочинений Д. И. Фонвизин. — Они внутренно были уверены, что давали мне хорошее воспитание, когда кормили меня белым хлебом, никогда не давая черного; словом, чрез воспитание разумели они одно питание». А по свидетельству поэта М. А. Дмитриева, одна из его знакомых барынь говаривала: «Могу сказать, что мы у нашего батюшки хорошо воспитаны: одного меду невпроед было!»

Потому и нежили детей чаще всего в семьях со старинными традициями и еще в тех случаях, когда ребенок был единственным или очень болезненным.

Так, А. И. Герцена в детстве не выпускали из комнаты целую зиму, а если позволяли прокатиться в карете, то сверх шубы и теплой шапки укутывали платками и шарфами.



М. И. Глинка вспоминал: «Бабка моя, женщина преклонных лет, почти всегда хворала, а потому в комнате ее (где обитал я) было, по крайней мере, не менее 20 градусов тепла по Реомюру. Несмотря на это, я не выходил из шубки, по ночам же и часто днем поили меня чаем со сливками и множеством сахара, кренделей и бубликов разного рода; на свежий воздух выпускали меня редко и только в теплое время. Нет сомнений, что это первоначальное воспитание имело сильное влияние на развитие моего организма, и объясняет мое непреодолимое стремление к теплым климатам, — и теперь, когда мне уже 50 лет, я могу утвердительно сказать, что на юге мне лучше жить, и я страдаю там менее чем на севере». Глинка жил у



бабушки лет до четырех-пяти. В результате из слабого младенца превратился в болезненного, рыхлого, вялого мальчишку.

В большинстве же случаев детей сизмальства закаливали и приучали к умеренности и физическому движению. В середине XVIII века такую методу выводили из учения Ж. Ж. Руссо; чуть позднее, после того как ее стали придерживаться в императорской семье, называли английским воспитанием. Однако и в старинной русской традиции существовали принципы не только «нежного», но и «грубого» воспитания, основанного на понятиях православного аскетизма.

Автор чрезвычайно любопытных воспоминаний А. Е. Лабзина, принадлежавшая к очень архаичной в культурном отношении семье и воспитанная в середине XVIII века экзальтированно-набожной матерью-вдовой, рассказывала: «Тело мое укрепляла суровой пищей и держала на воздухе, не глядя ни на какую погоду; шубы зимой у меня не было; на ногах, кроме нитяных чулок и башмаков, ничего не имела; в самые жестокие морозы <мать меня> посылывала гулять пешком, а тепло мое все было в байковом капоте. Ежели от снега промокнули ноги, то не приказывала снимать и переменять чулки: на ногах и высохнут. Летом будили меня тогда, когда чуть начинает показываться солнце, и водили купать на реку. Пришедши домой, давали мне завтрак, состоящий из горячего молока и черного хлеба; чаю мы не знали... Мать моя давала нам довольно времени для игры летом и приучала нас к беганью; и я в десять лет была так сильна и проворна, как нонче и в пятнадцать лет не вижу, чтоб была такая крепость и в мальчике... Пища моя была: щи, каша и иногда кусок солонины, а летом зелень и молошное. В пост, особливо в Великий, и рыбы не было. И самая грубая была для нас пища, а вместо чая поутру — горячее сусло или сбитень... Вживала меня <мать> верст по двадцати в крестьянской телеге

и заставляла и верхом ездить, и на поле пешком ходить — тоже верст десять. И пришедши, где жнут, — захочется есть, то прикажет дать крестьянского черствого хлеба и воды, и я с таким вкусом наемся, как будто за хорошим столом. Она и сама мне покажет пример: со мной кушает, и назад пойдем пешком... Даже учила меня плавать в глубине реки и не хотела, чтоб я чего-нибудь боялась, — и я одиннадцати лет могла переплывать большую и глубокую реку безо всякой помощи; плавала по озерам в лодке и сама веслом управляла, в саду работала и гряды сама делывала, полола, сажала, поливала. И мать моя со мной разделяла труды мои, облегчала тягости те, которые были не по силам моим; она ничего того меня не заставляла делать, чего сама не делала.<...>

Говаривали многие моей матери, для чего она меня так грубо воспитывает, то она всегда отвечала: „Я не знаю, в каком она положении будет; может быть, и в бедном, или выйдет замуж за такого, с которым должна будет по дорогам ездить: то не наскучит мужу и не будет знать, что такое прихоть, а всем будет довольная и все вытерпит: и холод, и грязь, и простуды не будет знать. А ежели будет богата, то легко привыкнет к хорошему“».

Подобное воспитание, хотя и без описанных крайностей, было широко распространено. Генерал Л. Н. Энгельгардт, воспитывавшийся в 1770-х годах, вспоминал: «Физическое мое воспитание сходствовало с системою Руссо, хотя бабка моя не только не читала сего автора, но едва ли знала хорошо российской грамоте. Зимой иногда я выбегал босиком и в одной рубашке резвиться с ребяташками и, заоченев весь от стужи, приходил в ее комнату отогреваться на лежанке; еженедельно в самом жарком пару меня мыли и парили в бане и оттуда в открытых санях возили домой с версту. Ел и пил самую грубую пищу, и оттого сделался

я самого крепкого сложения, перенося без вреда моему здоровью жар, и холод, и всякую пищу». Для будущего военного, каким стал Энгельгардт, это было очень полезно.

Еще позднее известный общественный деятель Б. Н. Чичерин вспоминал, что в детстве они с братьями бегали босиком по морозу и беспрепятственно барахтались в лужах.

Популярно было круглогодичное обливание ребенка по утрам холодной водой и беганье летом по росе, а граф М. Д. Бутурлин вспоминал: «До шестилетнего возраста меня пускали бегать по саду в летний теплый дождь голеньким, а в более старшем возрасте (до 9 лет) я и компаньон мой Эдуард бегали также по дождю, но уже в длинной ночной сорочке. Это воздушное купание было для нас наслаждением. Вся эта гигиеническая система имела для нас самые плодотворные последствия, и ее плоды я ощущаю ныне, в старости».

Вообще подобная система воспитания делала акцент на самодисциплину, деловитость и неподкупное выполнение долга. Помимо холодных обтираний по утрам, были обязательны длительные пешие прогулки при любой погоде, холод в спальне, немягкие тюфяки (часто набитые соломой), одно легкое одеяло и т. п.

Одевали дворянских детей в обычные дни очень просто и часто в одежду из тканей домашнего производства — холстинки, китайки, домотканого сукна. Платье из покупного ситца предназначалось для воскресных и праздничных дней, и лишь для самых важных торжеств, с большим съездом гостей, шили нарядное платье или костюмчик.

В отношении детского стола больших стеснений обычно не было, хотя не было и баловства. Как правило, детей несколько ограничивали в мясе — его давали немного и даже мясо из сваренного для маленьких

бульона вынимали и отправляли бедным. Полностью исключали «возбуждающие напитки» — чай и кофе. В остальном детский стол состоял примерно из тех же продуктов, что и у взрослых, но был менее обилен и прихотлив. Утром поили молоком или бульоном с хлебом либо давали «габер-суп» — сладкий овсяный суп с сухофруктами. Для здоровья поили травяными чаями, отваром лопуха, молочной сывороткой. В обед полагался суп, одно мясное или рыбное блюдо и десерт. На полдник — что-нибудь сладкое. На ужин — опять молоко с хлебом или каша. Помимо этого за детским столом неизменно бывали яйца, вареные овощи, пироги, масло и творог; летом — ягоды.

Мед и сахара в некоторых семьях детям не давали. А. А. Фет вспоминал: «Набравшись, как я впоследствии узнал, принципов Руссо, отец не позволял детям употреблять сахару и духов (здесь: пряностей. — В.Б.); но доктора, в видах питания организма, присудили поить Васю желудковым (т. е. желудевым. — В.Б.) кофе с молоком. Напиток этот для нас, не знавших сахару, казался чрезвычайно вкусным... Изюм и чернослив не входили в разряд запретных сахарных и медовых сладостей».

Впрочем, изюм, чернослив, орехи, равно как и покупные или домашнего изготовления «конфеты», и даже свежие фрукты и варенья — все это были лакомства, безусловно, праздничные, и в будние дни они перепадали детям крайне редко. В праздники каждому ребенку выдавалось по пригоршне этих сластей, и он мог съесть их сразу или растянуть удовольствие на несколько дней — как хотелось.

Завтрак дворянским детям подавался часов в восемь утра, обед — между 12 и часом дня, полдник — часа в четыре, ужин — в 8–9 часов. В промежутках между трапезами никаких перекусов не полагалось и

перехватывать куски детям запрещали. Чем знатнее был дом, тем строже соблюдалось это правило.

Не позволялось в большинстве семей капризничать за столом и отказываться от какого-либо блюда. Как вспоминала Т. П. Пассек: «В то время одним из условий правильного воспитания считалось приучать детей есть все без разбора. Отвращение их от некоторых предметов пищи относили к причудам. Насколько это полезно в нравственном отношении — вопрос другой, что же касается до его действительности, то, по большей части, страхом и наказаниями отвращение уничтожали».



Нарушали эти правила только любящие няньки и иногда бабушки-баловницы. Та же Т. П. Пассек рассказывала, что ее няня постоянно «отбирала и

прятала для нас лучшие куски кушанья и десерта, зазвавши к себе в комнату, накрепко припирала дверь и кормила украдкой от отца и от матери, которые это строго запрещали».

Полным пренебрежением к правилам и запретам отличалась и бабушка историка русской литературы и педагога А. Д. Галахова. Он называл ее «строгой с домашними, но любившей внучат до баловства» и описывал, как жил у нее в гостях с сестрой (а брат поселился у бабушки раньше): «Мы сели за стол втроем: бабушка, сестра и я; четвертый прибор, приготовленный для брата, оставался незанятым. Когда после первого кушанья — холодного, с которого тогда начался обед, подали горячее, дверь распахнулась настежь, и брат мой, разгоревшийся донельзя, весь в поту и пыли, вбежал в столовую с большой палкой в руке... Он не обратил на меня никакого внимания, как будто мы только что виделись; едва ли он даже заметил меня. „Где это рыскал? — смеясь, спросила его бабушка. — Полно тебе травить свиней, собачник, садись обедать“. — „А что это такое?“ — „Щи“. — „Я не хочу щей; что будет после?“ — „Жареный поросенок“. — „И поросенка не хочу. А потом?“ — „А потом пшенная каша со сливками“. — „Ну вот, когда подадут кашу, пришлите за мной“. И с этими словами вон из комнаты дотравливать свиней. Я был изумлен таким образчиком митрофанства. Мне, жившему при отце и матери, не могло прийти и в голову не сесть за обед в одно время с другими или выйти из-за стола до окончания обеда. Потом и я на деревенском приволье несколько позаимствовал от брата, который, в свою очередь, смотря на меня, делался менее разнузданным. Мне нравилось приходить к бабушке, которая позволяла нам больше свободы или своеволия, если угодно... По приходе моем немедленно выдвигался столовый ящик и

оттуда выгружались сдобные пышки, свежие огурцы, яблоки — чего хочешь, того просишь».



Впрочем, А. Д. Галахов особенно подчеркивал, что бабушка была человеком старого века и жила по давней традиции: «Ей было нипочем и самой сажать ржаные хлебы в кухонной печи, и собственноручно производить суд и расправу с прислугой, для чего и лежал у нее на шкапу арапник. Одевалась она просто, по-старинному, повязывая голову платком. Шляпку и чепец считала чуть не ересью... Все противное тем обычаям и порядкам, среди которых она выросла и состарилась, казалось ей или смешным, или преступным. Незнание чего-либо называла она незнанием арифметики как

труднейшей науки; например: „Так, по-вашему, Иоанн Богослов приходится 27 сентября, а не 26-го? Хорош же вы арифметчик!“ Писать не умела, но твердо знала церковную грамоту и часто сама читала молитвы во время молебнов, которые служили у ней на дому в праздничные дни. Это чтение не мешало ей, однако ж, развлекаться предметами, совершенно чуждыми богослужению, так что мы не могли удержаться от смеха при вопросе или замечании, которым неожиданно прерывался псалом или молитва.

„Отче наш, иже еси на небесех, — читала бабушка и вдруг, взглянув в окно, кричала: —

Девка, посмотри, кто там приехал!"; „Помилуй мя Боже, по Белицей милости Твоей... девка, беги скорей в сад, выгони корову!“»

Детский распорядок дня уже с конца XVIII века соблюдался в большинстве семей строго, даже во время пребывания в деревне. Граф С. Д. Шереметев вспоминал: «Жизнь в Ульянке начиная с 1853 года (когда автору было девять лет. — В.Б.) сложилась следующим образом: вставал я часов в семь, через полчаса пил чай в саду, по обыкновению на скамейке под дубом. Прогулки совершались „по чину“ с (гувернерами) Руже или с Греннингом небольшие вокруг пруда. Потом начинались уроки от девяти до двенадцати. Затем „рекреация“ до часу, когда подавался обед. С детства и почти до поступления в полк я обедал в час и один. В три часа снова начинались уроки до шести или позднее. Затем пили чай; опять прогулка в саду, в девять часов ужин, а в десять ложился спать. В Петербурге те же часы, только прогулки совершались раз в день от двенадцати часов до часу, а вечером с восьми до девяти бывали приготовления, в особенности к математике».

На протяжении значительной части XVIII века во многих — особенно провинциальных — дворянских



семьях продолжали следовать старинной русской традиции послеобеденного сна, но к началу XIX столетия она по большей части вывелась. Более того, к середине XIX века многие медики были решительно убеждены во вреде дневного сна даже для довольно маленьких детей. Врачи советовали «не позволять детям спать ни одной минуты днем, иначе, по их словам, они могут сделаться слабосильными, лентяями и тупицами, даже цинготными детьми». Для возбуждения же их деятельности иные из медиков рекомендовали «держат их в страхе — розгами, находя весьма успешным посекать детей и за шалости, и за малоуспешность».

Длительных каникул у детей, учившихся дома, не бывало: лишь по несколько свободных дней на Рождество и Пасху. Как в городе, так и летом, в деревне, значительную часть дня занимали уроки. Так, по воспоминаниям М. К. Цебриковой, ее старшая сестра, заменявшая воспитательницу и учительницу, занималась с ней с семи часов утра и до двенадцати и от трех до шести после обеда, «так что для прогулок или ручной работы совсем не оставалось времени».

Встречались семьи, в которых игры и даже прогулки детей воспринимались — даже летом — как излишества, лишь вредящие правильному воспитанию. По словам мемуаристки Е. А. Сушковой: «Мать позволяла мне играть во дворе, но только тогда, когда почивала бабушка, потому что та не позволяла матери баловать меня, а по ее мнению, дать девочке подышать чистым воздухом называлось неприличным баловством».



Кое-где гулять и разрешали, но во время прогулки, опять-таки не только в городе, но и в деревне, следовало ходить чинно, небыстро и, упаси Боже, не проявлять резвость — не бегать, не прыгать, даже не отходить от воспитателей. Так, Е. И. Бибикова и в деревне позволяла своим, еще далеко не взрослым, дочерям изредка прогуливаться в саду под неусыпным наблюдением гувернантки и обязательно в сопровождении двух лакеев — как положено благовоспитанным барышням из благородного семейства. Причем для подобной прогулки следовало всякий раз получить разрешение матери, а она — из педагогических соображений — тоже, чтобы зря не

баловать, давала его не всегда. В итоге девочки почти и не просили об этом.

Особенно часто ограничивали детскую подвижность родители слабых и болезненных детей, тем паче если в семье уже случались несчастные случаи, приведшие к гибели или инвалидности ребенка, да и просто если дети «не стояли». Тут не разрешали ни бегать, ни бороться, ни, Боже упаси, лазить по заборам, да и купаться под строжайшую ответственность гувернантки не позволялось, чтобы не захлебнулись и не простудились.

И все же в большинстве семей прогулки и вообще детская активность считались обязательными.



В городе зимой маленьких дворян вывозили на прогулки в экипаже; весной и осенью в хорошую погоду водили гулять в места общественных «променадов» — в Петербурге на Английскую набережную и в Летний сад; в Москве — на Тверской, а позднее Пречистенский бульвары; в общем, в каждом городе имелось такое место, где принято было выгуливать барских детей с няньками и гувернантками.

Резвились дети и в собственных садах, где зимой позволялось играть в снежки и заливались ледяные горки. Коньки вошли в городской обиход во второй половине XIX века и время от времени дети из дворянских семей — подобно сестрам Щербацким из толстовской «Анны Карениной» — выезжали вместе с воспитателями на какой-нибудь из городских катков, одобренных «хорошим обществом».

Жизнь в деревне — как летняя, так и зимняя — давала еще больше возможностей для подвижных игр и развлечений. Русские мемуары изобилуют восторженными рассказами о деревенских радостях, в которых нередко товарищами барчуков становились дети дворовых.



Графиня В. Н. Головина, урожденная княжна Голицына, рассказывала, что мать позволяла ей

«свободно бегать повсюду одной, стрелять из лука, спускаться с холма, перебегать через равнину до речки, гулять по опушке леса, влезать на старый дуб возле самого дома и срывать с него желуди».

Писатель С. Н. Глинка играл в свайку с дворовыми ребятишками, запускал змея с трещоткой под длиннейшим мочальным хвостом, «летом то в рощах гонялся за бабочками, то ходил за ягодами и за грибами, то спешил в орешник; зимой — то катанье на салазках, то в комнате волчки, веревочки и мячик».

Граф М. Д. Бутурлин вспоминал, что в деревне «к учению меня еще не сильно принуждали и привольная, негородская жизнь развертывалась там со всеми деревенскими ее прелестями: скитанием по лесам гурьбой за грибами и за орехами, с песнями и игрой в горелки с горничными девушками и девочками, ужением карасей в прудах и пр. А уж какое было удовольствие забраться на обмолоченные скирды, стоявшие за ригой, и с них спускаться, как бы с ледяной горки!». Зимой же катались на салазках с ледяной горки. «Оно (катание) устроено было с высокого берега на одном из прудов, рядом с домом; мы часто сами поливали нашу гору, чтобы она сделалась ровнее. Близ этого места было Иорданское водосвятие 6 января 1816, и мы все в первый раз участвовали в церковном шествии».



А. Д. Галахова и его братьев не учили «ни стрельбе, ни верховой езде, ни даже плаванию», так как родители боялись несчастного случая. Однако «мы ежедневно упражнялись в естественной гимнастике — в гимнастике на просторе и открытом воздухе... Нам ничего не стоило перескочить широкий ров, взобраться на крышу, вскарабкаться на самую вершину высокого дерева, шибко взбежать на гору и так же сбежать с нее, сряду перекувыркнуться через три соломенные омета, стоявшие в конце гумна» и т. д.

А в усадьбе Елагиных, как вспоминала М. В. Беэр, «всякий вечер на дворе перед домом устраивались горелки, в саду — игры в разбойники, а в дождливую погоду в „голубой гостиной“ играли в жмурки. Часто с нами играли и родители. Потом было наше любимое

катание со скирдов соломы, которые в Бунине были страшно высокие.

Зимой брат Алеша устраивал катанье с крутой горы в овраг на купальне. Привяжет салазок пять, одни к другим, и все тогда летим и кувыркаемся в снег. Еще другое любимое катание: привязывали салазки к розвальням, запрягали в них лошадь, и Алеша разгонял ее во весь дух по ухабам и раскатам. Тут уже было особенное удовольствие вылетать из салазок и из больших саней. Лошадь была так приучена, что останавливалась сама после такого финала. Как мы оставались целы, не понимаю».

Дворянским детям были известны практически все игры, бытовавшие и в народной среде: жмурки, лапта, городки, кошки-мышки, чехарда, свайка.

Многие, подобно Я. П. Полонскому, вспоминали, как на Святой неделе «вместе с детьми дворовых в зале на разостланном ковре с лубка, согнутого в виде желоба, катали яйца... Когда проходили Святки и зимние вечера начинались все еще с трех-четырех часов пополудни, не раз мне случалось в той же бабушкиной зале участвовать в хороводах, которые водили все собравшиеся туда дворовые. Иногда затевались поистине деревенские игры. Сколько раз, бывало, сидел я на полу вместе с Катьками, Машками и Николашками и вместе с ними тянул: „А мы просо сеяли, сеяли!“, а другой ряд сидящих перебивал нас: „А мы просо вытопчем, вытопчем!“ Все это я очень любил и едва ли не все эти народные песни и знал наизусть».





Популярны, как в низовой, так и в аристократической среде, были ныне исчезнувшие игры в камешки и в веревочку. В них играли и на улице, и дома.

Камешки при случае заменяли пуговицами или даже кусочками сахара. Игра заключалась в том, чтобы, разбросав по земле или полу несколько камешков, еще один подбросить в воздух и, пока он летит, успеть подобрать с земли другой и поймать подброшенный. После одного камешка так же поднимали два, три и так далее. Не успевший при этом поймать подброшенный камешек проигрывал и выбывал из игры.

А при игре в веревочку на длинную веревку надевали кольцо, концы веревки связывали вместе и становились в круг, держась руками за эту веревку. Водящий по движениям рук играющих, которые незаметно передвигали кольцо по веревке, должен был определить его местонахождение. Если это удавалось, тот, у кого обнаруживалось кольцо, становился водящим. Эта игра существовала и в сидячем, застольном варианте и была очень популярна, между прочим, в семье Николая I, где в нее играли и дети, и взрослые.



Вообще же простор дворцовых покоев позволял устраивать для царских детей самые разные игры, в том числе весьма подвижные, к участию в которых нередко приглашались и «городские» дети.

Граф С. Д. Шереметев вспоминал о таких воскресеньях в гостях у юных великих князей: «Все веселились просто и безо всякой задней мысли. Особенно любил я игру так называемую бомбардирование, когда все разделялись на два враждебных лагеря, из которых одни занимали деревянное укрепление, устроенное в зале (бруствер), другие осаждали его, бросая крепкие резиновые мячи. Из-за укрепления отвечали тем же, и это было истинное побоище».



А. П. Золотницкая, посещавшая вместе с другими детьми дворец, чтобы играть со старшими детьми Александра II (тогда еще великого князя), рассказывала: «Несмотря на обилие, разнообразие и роскошь игрушек, одной из любимейших наших забав была игра в лошадки, а так как у меня... были длинные локоны, то я всегда изображала пристяжную. Великий князь Александр Александрович вплетал в мои локоны разноцветные ленточки, садился на козлы, и мы с гиком летели вдоль всей галереи, причем в пылу игры великий князь нещадно хлестал „лошадь“ по ногам; доставалось, конечно, и платью, к великому

негодованию моей чопорной англичанки, которой оставалось, однако, только кисло улыбаться».

## **IV. Дети и родители**

В дворянской семейной иерархии, как уже отмечалось, дети долгое время занимали одну из низших ступеней. Их жизнь текла отдельно от жизни родителей, с которыми они мало общались. Родители были безусловными повелителями их маленького мира, но их воля доводилась до детей через нянь и воспитателей. Меняться эта ситуация стала лишь после 1860-х годов, когда возникает увлечение новейшими педагогическими теориями, издается множество специальных журналов — как для детей, так и для родителей, и старшие начинают не только вникать во все мелочи воспитания ребенка, но и чаще общаться с ним, поддерживая не только родительские, но и дружеские отношения, без излишней, впрочем, фамильярности. В этот же период детей старались больше баловать, что не нравилось людям «старого закала», считавшим, что подобным образом у детей возникают превратные представления о жизни, дескать, «им положена вся роскошь жизни, а родителям один труд и заботы».

Внешне эти новации проявлялись в том, что люди, воспитанные в первые десятилетия XIX века, еще говорили по традиции родителям «вы» и целовали им руку, а уже их дети говорили отцу и матери «ты», и родители сами со смехом отдергивали руки, если дети в шутку пытались их поцеловать. Общий стиль воспитания приблизился, таким образом, к тому, что существует и ныне.

В более раннее время, как свидетельствовал писатель граф В. А. Соллогуб, «жизнь наша текла отдельно от жизни родителей. Нас водили здороваться и прощаться, благодарить за обед, причем мы целовали

руки родителей, держались почтительно и никогда не смели говорить „ты“ ни отцу, ни матери. В то время любви к детям не пересаливали. Они держались в духе подобострастья, чуть ли не крепостного права, и чувствовали, что они созданы для родителей, а не родители для них. Я видел впоследствии другую систему, при которой дети считали себя владыками в доме, а в родителях своих видели не только товарищей, но чуть ли не подчиненных, иногда даже и слуг. Такому сумасбродству послужило поводом воспитание в Англии. Но так как русский размах всегда шагает через край, то и тут нужная заботливость перешла к беспредельному баловству».

Во времена Соллогуба (начало XIX века) и в более ранние годы, при всей любви к детям, дело воспитания в значительной степени было передоверено наставникам и наставницам, а родители следили лишь за общим ходом его и непосредственно вмешивались в детскую жизнь лишь в сравнительно экстренных случаях.

Обычно дети виделись с отцом и матерью лишь два-три раза в день. Сперва утром в сопровождении гувернера сходили вниз здороваться с родителями, целовали им руки и выслушивали, если требовалось, наставления и замечания. «Маман, прежде, нежели поздороваюсь, пристально поглядит мне в лицо, обернет меня раза три, посмотрит, все ли хорошо, даже ноги посмотрит, потом глядит, как я делаю кникс...» (И. А. Гончаров. «Обрыв»). После этого дети немедленно уходили к себе наверх.

Затем дети появлялись за обеденным столом. Это правило было далеко не обязательным: во многих, особенно наиболее знатных, семьях дети ели отдельно или вместе с воспитателями и за «большой» стол допускались лишь после обретения взрослого статуса (с

началом светских выездов для девушки и действительной службы для юноши).

Отсутствие детей за взрослым столом избавляло взрослых от необходимости сдерживаться в разговорах, многие из которых считались не предназначенными для детских ушей, а самих детей — от переедания и связанных с ним болезней (стол «больших» был обычно обильнее и сложнее, чем детский).

В тех же случаях, если родители находили нужным обедать семейно, что, между прочим, приучало детей к обществу и приличным манерам, место их было на самом дальнем, наименее почетном конце стола, и там они должны были сидеть тише воды, ниже травы — переговариваться редко и только шепотом, во взрослые разговоры не вступать и вообще голос подавать только в том случае, если их о чем-нибудь спросят.

Е. А. Жуковская с гордостью писала о своей крошечной дочке: «Саша обедает с нами в три часа, сидит смирно и внимательно слушает разговор гостей».

«В те времена молчание почиталось обязанностью детей», — вспоминала княжна В. Н. Репнина. Но безгласие за столом не мешало им, конечно, украдкой толкать друг друга под столом ногами и перебрасываться шариками, слепленными из хлебного мякиша.

К праздничному столу, за которым собирались не только свои, домашние, но и званые гости, детей даже в этих домах выводили нечасто.

А. Д. Галахов вспоминал: «По обычаю помещиков средней руки, живших не открыто, а скромно и уединенно, мы не толклись среди гостей, не принимали участия ни в обедах, ни в разговорах с посторонними. Нас выводили к ним на короткое время из детской, если они выражали желание взглянуть на нас».

Наташа Ростова, громко спросившая во время именинного обеда, какое будет мороженое, вела себя с



точки зрения тогдашних нравов совершенно неприлично, и сравнительно благодушное отношение родителей к ее выходке показывало, по Толстому, общий, довольно безалаберный, хотя и милый и душевный, стиль жизни ее семьи.

Вечером дети приходили прощаться с родителями, точно таким же образом, как утром — здороваться. И обычно общение с отцом и матерью этим и исчерпывалось.

Матери в большинстве случаев старались сохранить с детьми строгий и сдержанный тон. Как писала свояченица Л. Н. Толстого Т. А. Кузминская: «Несмотря на ее заботы, наружно мать казалась с нами строга и холодна. В детстве она никогда не ласкала нас; она не допускала с нами никаких нежностей, отчего я в душе своей часто страдала».

Материнскую ласку дозировали скупой, но тем лучше она запоминалась. Княжна В. Н. Репнина за все детство смогла припомнить всего два таких случая: «Как-то вечером мама вошла в комнату, где спали мы с сестрой Сашей и гувернанткой мадемуазель Вильдермет, и, найдя, что у нас душно, приказала перевести нас в гостиную, далеко от нашей комнаты. Поскольку я уже спала, мама взяла меня на руки, хотя мне было девять лет, и, пока готовили мою постель, я дремала у нее на коленях, прижимаясь головою к ее груди. Это было так приятно, что еще долго потом я представляла себя мысленно в этом положении и очень этим наслаждалась.<...>

Когда мне было 11 лет, мама однажды вошла в нашу комнату, где мы с Сашей занимались уроками с мадемуазель Вильдермет, и сказала нам, что собирается ехать в Петербург. Я залилась слезами, и несколько дней, предшествовавших отъезду (она брала с собой Сашу и мадемуазель Вильдермет), мама не переставала меня ласкать, что мне было очень приятно.

Особенно один раз, когда она села со мной на сундук, принесенный в комнату, и несколько раз меня поцеловала. Я была счастлива».



Если учесть размеры семьи и немалое число обязанностей, лежавших на хозяйке дома — к тому же женщине, как правило, светской, — поддерживать определенный образ жизни, вести дом, хозяйство и собственные имения, присматривать за прислужой, за учением детей, подбирать учителей, поддерживать знакомства и родственные связи, то есть принимать и

делать множество визитов, писать большое количество писем, следить за литературными новинками, бывать в театрах, на выставках, заниматься благотворительностью, а еще быть всегда ухоженной и хорошо одетой, что тоже являлось своего рода обязанностью, то без некоторой отстраненности от детей обойтись, пожалуй, было и нельзя. О повседневной жизни детей матери узнавали в основном из ежедневных отчетов нянь и гувернанток, что, впрочем, нисколько не мешало им держать и детскую половину в должном порядке. «Матан была строга и серьезна, никогда не шутила, почти не смеялась, ласкала мало, все ее слушались в доме: няньки, девушки, гувернантки делали все, что она приказывала. В детскую она не ходила, но порядок был такой, как будто она там жила...» — устами одной из своих героинь описывал такую мать И. А. Гончаров («Обрыв»),

Отцы, постоянно занятые службой, делами по имению, светским общением и прочими важными вещами, в большинстве случаев маленькими детьми совсем не занимались (кроме тех случаев, когда их требовалось наказать) и начинали проявлять интерес к своим отпрыскам лишь по достижении ими школьного возраста.

Д. Н. Свербеев вспоминал: «Отец любил меня страстно, но в обращении со мной он был необыкновенно сдержан, а я боялся его более, нежели любил». Известный математик С. В. Ковалевская вторила ему: «В сущности, отец наш вовсе не был строг с нами, но я видела его редко, только за обедом; он никогда не позволял себе с нами ни малейшей фамильярности, исключая, впрочем, тех случаев, когда кто-нибудь из детей бывал болен. Тогда он совсем менялся. Страх потерять кого-нибудь из нас делал из него как бы совсем нового человека. В голосе, в манере говорить с нами появлялась необычайная нежность и

мягкость; никто не умел так приласкать нас, так пошутить с нами, как он. Мы решительно обожали его в подобные минуты и долго хранили память о них. В обыкновенное же время, когда все были здоровы, он придерживался того правила, что „мужчина должен быть суров“, и потому был очень скуп на ласки». В итоге самым суровым наказанием для дочери было требование пойти к отцу и самой рассказать ему о своей провинности.

Такой же стиль отношений с отцом был и в семье М. К. Цебриковой: в обычное время отец был суров и неприступен, но иногда вечерами он собирал детей для игр, рассказов, рассматривания коллекций — «и в эти минуты мы не боялись его». Сходную картину рисовал и Я. П. Полонский: «Мать моя была со мной ласкова и предупредительна. Отец любил меня, но если бы мне вздумалось поцеловать его — непременно бы отстранил меня рукой и сказал: ступай!»

Строгость к детям объяснялась, конечно, не недостатком любви, а высокой требовательностью, которая к ним предъявлялась. И главную добродетель детей видели в умении повиноваться. «Мальчикам внедряли догмат беспрекословного повиновения в виду предстоявшей им государственной службы, девочкам — в виду неизбежной власти мужа», — вспоминала М. К. Цебрикова.



Детям следовало безусловно и во всех случаях признавать власть и авторитет старших.

«Дети должны быть всем довольны, для детей все хорошо, потому что они — дети, не взрослые — продолжает мемуаристка. Дети обязаны беспрекословно повиноваться родителям, воспитателям, учителям, а также и прочим старшим, когда приказанья их не противоречат приказаниям первых трех властей. Рассуждения не допускались; если выходила какая-нибудь ошибка или даже вина вследствие исполнения полученного приказа, провинившийся ребенок не подвергался наказанию»

Не только непослушание, но даже детские просьбы родители не одобряли на том основании, что они заботятся о том, чтобы у детей было все нужное, следовательно, просьба считалась как бы проявлением недовольства. «Я терпеть не могла просить чего-нибудь

и только страсть к писанию и рисованию пересиливала отвращение просить бумаги и карандашей сверх положенного», — вспоминала М. К. Цебрикова.

Вплоть до первых десятилетий XIX века авторитет родителей поддерживался и особыми формами обращения к ним. «Мы не смели сказать: за что вы на меня сердитесь, а говорили: за что вы изволите гневаться? или: чем я вас прогневила?» — вспоминала Е. П. Янькова. И родителям, и старшим братьям и сестрам полагалось говорить «вы», а упоминая кого-то из них в разговоре, говорили «они». Следовало говорить: «Папенька или маменька изволили приехать, изволили огорчиться, изволили прогневаться, изволили мне то или другое пожаловать и т. п.».

То, что в жизни ребенка родителей (особенно отца) было в общем-то мало, создавало настоящий их культ и придавало особую ценность и весомость всякому исходящему от них слову и поступку. Отдаленность отца и матери в сочетании с «долюбленностью» ребенка няней и воспитателями создавали особый тип личности, ориентированный на идеал. В итоге авторитет родителей был непререкаем, а открытое и демонстративное неподчинение их воле в дворянской среде было редкостью и каждый раз воспринималось обществом как нечто чрезвычайное.

«Родители вели нас так, что не только не наказывали, но воля их всегда была для нас священна, — вспоминала мемуаристка. — Отец наш (Н. С. Мордвинов. — В.Б.) не любил, чтобы дети ссорились, и, когда услышит между нами какой-нибудь спор, то, не отвлекаясь от своего занятия, скажет только: „Самый умный — уступает“, — и у нас все умолкнет».

## **V. Дети и дворовые**

Граница, существовавшая между родителями и детьми в дворянских семьях, вычленяла детский мирок в самостоятельное целое, внутри которого дети устраивали себе, насколько могли, собственную жизнь. В этой жизни возникали как собственные внутренние связи между самими детьми, так и многообразные отношения с прочими членами семьи, домочадцами и прислугой.

Дворянские семьи почти всегда были не только многодетны, но и многочисленны и притом построены в четком соответствии с «монархическим принципом». Возглавляли семью родители — отец и мать — «цари» этого маленького мирка. Помимо родителей и их детей, в доме часто жили незамужние сестры отца или матери (как это было в семье А. С. Пушкина) и молодые холостые братья, довольно часто здесь же поселялись вдовы или незамужние тетки и овдовевшие бабушки — всего могло быть до десятка близких родственников.



Все они напоминали «августейшее семейство». Ниже по иерархии стояли домочадцы — всевозможные бедные родственники, чаще — родственницы, а иногда просто призреваемые старушки дворянки, которых приютили лишь потому, что им некому было помочь. В числе домочадцев были и всевозможные компаньонки и чтицы матери, а также воспитанники и воспитанницы, бонны, гувернеры и гувернантки, живущие в доме учителя и еще разного рода «домашние люди» — секретари, управляющий, домашний врач, архитектор, домашний художник (часто из иностранцев) и т. п. Все они составляли «свиту» хозяев дома. Промежуточный слой между домочадцами и прислугой занимали домашние шуты, почти неперемменные для дворянского дома еще и в начале XIX века, а также примыкавшие к ним по положению калмыки и калмычки, турки и арапча, карлики и карлицы, развлекавшие хозяев и их близких.





Далее следовала прислуга (дворня), игравшая в домашнем мире роль «двора»; а в самом низу иерархии находились «подданные» — крестьяне, которые пахали землю, платили оброк и обеспечивали существование всех остальных категорий.

С крестьянами дети почти не общались: те жили отдельно, в деревне, и появлялись на господском дворе лишь по праздникам или в каких-то особых случаях. В деревню детей водили (а чаще возили) достаточно редко, и деревенскую жизнь они видели преимущественно через окошко кареты. Зато со всеми живущими в доме им так или иначе приходилось общаться. И наиболее тесные связи возникали у дворянских детей с обитающими в доме и усадьбе крепостными — дворовыми людьми, которые и были для них главными представителями «народа».

Вплоть до отмены крепостного права в 1861 году дворня в барских домах была по традиции весьма и весьма многочисленна: дворецкий, камердинер, буфетчик, а то и два, ламповщик, по меньшей мере один повар и поварята (готовившие для господ и хозяйских гостей), кондитер, швейцар, истопник, садовник, дворник, выездной лакей (а чаще несколько), буфетный мужик, кухонный мужик, ливрейные лакеи, экономка, кухарка (готовившая для дворни), поломойки, швеи, прачки, горничные разных категорий, а также дворовые мальчики и девочки на побегушках.

Пока сохранялись традиции XVIII века, в аристократических семьях держали также скороходов, гайдуков, фореиторов, собственных парикмахеров, ключников, свою охоту — псарей и доезжачих, своих музыкантов и певчих, так что набиралось человек восемьдесят, а в деревнях так и все двести, поскольку к дворне относились и те, кто вел все усадебное хозяйство.

Одевали и кормили дворню в основном «домашними средствами», то есть привозимыми из деревень припасами (лишь на форму — ливрею пускали более дорогое покупное сукно), а также платили ей небольшое денежное жалованье на непредвиденные и карманные расходы и делали по праздникам подарки. Естественно, позднее, уже к середине века, держать такую уйму прислуги большинству дворян стало не по средствам и число дворовых сократилось человек до пятнадцати — двадцати.

Отдельные помещения долгое время имели лишь немногие привилегированные и старые слуги (тот же дворецкий, какие-нибудь старая нянька или дядька, вынянчившие хозяев) и служившие лакеями и горничными иностранцы. Холостые мужчины, кроме личного барского лакея-камердинера, чаще всего жили все вместе в людской, семейным строили на территории

усадыбы несколько изб или людских флигелей, а незамужние женщины размещались по углам в девичьей и жилых комнатах и ходили обедать в людскую. Личная прислуга обычно спала в комнате своего господина, на полу у дверей.

Первостепенную прислугу — «дворовую аристократию», в число которой входили и дядька сыновей хозяина, а также няни и кормилицы, — прочая дворня звала по имени-отчеству и всегда вставала в ее присутствии. Привилегией этой категории дворовых был также отдельный от прочей дворни стол, за которым подавались те же блюда, что готовили для господ.

Вообще, мирок прислуги был довольно самобытен: здесь бушевали собственные страсти, интриги и увлечения, имелись свои вкусы и развлечения, своя сословность. «Лакей магната, — свидетельствовал бытописатель, — едва достаивает наклоном головы лакея мелкого чиновника, а кучер секретаря с особенным уважением смотрит на кучера сенатора и часто гордится, если удостоится его почтенного знакомства».

Дворня была много образованней своих крепостных собратьев — пахотных крестьян. Среди дворовых встречались грамотные и даже начитанные люди, а «дворовая аристократия» в хороших домах щеголяла прекрасными манерами и выглядела совершенно побарски.

Отношения между дворянами и дворовой прислугой не выходили за рамки крепостного права, но вместе с тем несли на себе отпечаток патриархальности и особенной близости. Дворянство так привыкало к своим дворовым, что просто не могло без них обходиться и часто попадало под их влияние. Даровитыми дворовыми даже гордились. Как писал князь П. А. Кропоткин: «Если кто-нибудь из гостей заметит: „Как хорошо настроен

ваш рояль. Ваш настройщик, вероятно, Шиммель?“ — то помещик гордо отвечал: „У меня собственный настройщик“. — „Что за прекрасное пирожное! — бывало, восклицает кто-нибудь из гостей, когда к концу обеда появляется своего рода художественное произведение из мороженого и печений. — Признайтесь, князь, это от Трамбле?“ — „Нет, это делал мой собственный кондитер, ученик Трамбле. Я позволил ему сегодня показать свое искусство“». Если же среди дворовых оказывался самородный актер, поэт или живописец, то его дар непременно демонстрировали гостям и позволяли выслушать восхищенные отзывы зрителей.

Ко всему прочему в жилах господ и дворовых нередко в буквальном смысле текла одна кровь. Вспомним хрестоматийно известный сюжет из пушкинского «Дубровского» — о нравах Кирилы Петровича Троекурова, у которого «множество босых ребятишек, похожих на него как две капли воды, бегали перед его окнами и считались дворовыми». Умрет Кирила Петрович, вырастут «ребятишки» и превратятся в лакеев и гонимых Марьи Кирилловны — а ведь это ее собственные сводные братья и сестры. Подобная ситуация была не только реальна, но и очень распространена.

Далеко не случайно, во время пугачевщины, если крестьяне охотно вешали господ, то дворовые весьма нередко, даже с риском для жизни, их спасали.

Во всех случаях дворовые считались «своими», и с ними не слишком церемонились. Отношение к ним часто напоминало отношение к домашним животным, которым достаются и сладкий кусочек, и поглаживание по шерстке, и пинок ногой, чтобы не раздражали, и трепка веником, если провинятся.

Вплоть до 1760-х годов нравы дворянства оставались грубыми. Не только в барских усадьбах, но и

при императорском дворе процветали рукоприкладство и нецензурная брань. И Анна Иоанновна, и Елизавета Петровна не церемонились не только с прислугой, но и с придворными дамами, происходившими из самых родовитых и громких фамилий. Своих статс-дам и фрейлин царицы бесцеремонно звали «девками» и, осерчав, собственноручно били по лицу и драли за волосы.

Пока подобные нравы были в ходу, естественно, что и дворовые ходили в домашних мучениках, на которых вымещали все недостатки характера и воспитания, а также и жизненные разочарования. Но все же и тогда патологические личности вроде Салтычихи, которой мучительство доставляло удовольствие, встречались относительно редко. К тому же нормой дворянской жизни продолжало оставаться узаконенное обычаем семейное насилие, о котором сложилась знаменитая поговорка: «Бьет — значит, любит». Мужья избивали и тиранили жен, о чем сохранилось множество свидетельств; родители лупили детей, а господа прислугу. Все происходило «по-отечески», патриархально, и вроде бы воспринималось как должное. Прибавим к этому, что тиранство помещиков, как и государственное тиранство в России всегда, в общем, было «ограничено удавкой». Весьма нередко чрезмерно увлекшихся «правом господина» помещиков, которые слишком часто прибегали к физическому насилию или бесчестили женщин, крестьяне или дворовые не только убивали, но порой и кастрировали.

С воцарением Екатерины II дворцовые нравы быстро и радикально поменялись. Императрица демонстрировала мягкое и уважительное отношение и к придворным, и к прислуге (горничные и лакеи ее обожали) и постепенно привила-таки приближенным начала гуманности и терпимости. В итоге сперва в кругу придворной аристократии, потом в верхах

столичного дворянства, а далее и в наиболее просвещенной части дворянства провинциального физическая расправа, особенно собственноручная, стала считаться вещью по меньшей мере не совсем приличной, тем более что законодательство позволяло более цивилизованные способы наказания нерадивых слуг. В частности, за обычные провинности прислугу можно было направить для телесного наказания в полицию. Такой способ кары нес на себе отпечаток приличия, избавлял дворянина от низкого и недостойного занятия и постепенно способствовал уменьшению числа наказаний. Дети, не видя в семье физической расправы с прислугой, переставали считать ее необходимой и сами, выросши, к ней прибегали редко.

В общем, к началу XIX века нравы смягчились настолько, что общество в целом стало неодобрительно относиться к помещикам, злоупотреблявшим своими господскими правами, а во многих аристократических домах отношения господ и дворовых и вовсе сделались почти идиллическими.

М. В. Каменская, урожденная графиня Толстая, писала: «Помню себя с двухлетнего возраста до 75-летнего, а не помню, чтобы кто-нибудь из семьи дрался с людьми. И того даже не помню, чтобы люди наши боялись господ. У дедушки... был старик-камердинер, который со своим старым барином вечно спорил, как с маленьким. Просит его дедушка: — Андрей, подай мне сегодня мундир, я в гости иду. — А Андрей ему в ответ: — Ладно, сходишь и в сертучишке! Нечего мундир даром таскать... — И подаст сертучишко». Нам «с первых лет жизни было говорено, что людей бить нельзя, что человек должен слушаться слова».

По воспоминаниям Т. П. Пассек, к примеру, в доме ее знакомых Яковлевых «телесные наказания были почти неизвестны. Два-три случая, в которые прибегали к

посредству частного дома, были до того необыкновенны, что об них вся дворня говорила целые месяцы; сверх того, они были вызываемы значительными проступками».

Разумеется, полностью помещичье самоуправство не исчезло, и идиллия была, мягко говоря, не полной ни в 1810-х, ни в 1820-х, ни даже в 1840-х годах. В мемуарах этого времени есть немало красноречивых свидетельств неискорененного варварства. Много примеров бессмысленного и гнусного самоуправления приводит, в частности, тот же князь П. А. Кропоткин. Т. П. Пассек писала о соседской помещице В. И. Хвостовой и ее малолетнем внучке Мите: «Когда ребенку, сидевшему на руках своей рябой няньки Аксины, приходило желание поцарапать ей лицо и он ревел, если та ему не давалась, то барыня выходила из себя и, гневаясь, кричала: „Велика беда, что ребенок подерет твою рябую харю“. Ребенок драл харю, а нянька, не смея ни жаловаться, ни сопротивляться, говорила, в угоду госпоже: „Подерите, батюшка, подерите на здоровье“».

М. К. Цебрикова вспоминала: «Видала я немало барынь, для которых слова „девка“ и „тварь“ были синонимами; видала и товарищей детства, помыкавших старыми слугами, издевавшихся над ними и даже их поколачивавших, и это с полнейшей безнаказанностью — разве что услышишь равнодушное замечание: „Как тебе не стыдно! От земли не видно“ или „Не твое дело распоряжаться“».

И все же тон в отношениях с дворовыми задавали иные, высококультурные семьи. Как свидетельствовал граф М. Д. Бутурлин: «Не слыхал я никогда, чтобы мой отец обозвал кого-нибудь (из прислуги) дураком.

Вспылит бывало, но через две минуты все проходило, и тут же он подзовет для какого-нибудь приказанья провинившегося человека: „Эй ты,

голубчик, поди-ка сюда“; всем им он говорил „голубчик“. Боже избави, чтобы мы, дети, осмелились сказать бранное слово кому-нибудь, а если кто из нас поднял бы руку в запальчивости, то велено было этим же нам отплатить... Чваниться с прислугой строжайше было нам запрещено. Не только что официанты и лакеи не обращались к нам по титулу, но более почетные из них, как, например, камердинеры нашего отца, столовый дворецкий и буфетчик и, конечно, наши няни, и старшая горничная нашей матери, называли нас запросто „Маша“, „Соня“, но никогда не забывались перед нами...

Однажды случилось со мной приключение, о котором не стоило бы упоминать, если бы оно не служило доказательством, как строго требовалась от нас вежливость с нашей прислугой. Когда я стал обуваться, Фединька, мой полукамердинер и полукомпаньон, настаивал, чтобы я надел шерстяные чулки (так как была уже осень), а не бумажные (как я хотел). Я ему закричал: „Что ты умничаешь“, — и более ничего, но я произнес эти слова с раздражением. Графиня Марья Артемьевна (тетка) донесла моей матери, что „мальчик позволяет себе важничать“. Ну и досталось мне за это!»

Чваниться перед прислугой и грубить ей было запрещено и в значительно более скромной по положению семье Шеншиных. «Всякая невежливость с моей стороны к кому-либо из прислуги не прошла бы мне даром», — вспоминал А. А. Фет.

А в еще более скромной семье флотского офицера Цебрикова прислугу не только уважали, но и оберегали от излишних нагрузок и, как вспоминала М. К. Цебрикова: «Как только мы выучились справляться с завязками и надевать чулки, приказано было одеваться самим. Отец строго следил за тем, чтобы мы делали все, что могли, сами и не наваливали лишнюю



работу на прислугу». Наиболее разумные родители — от небогатого дворянского дома до царского дворца — поступали так же.

К слову сказать, умение обходиться без посторонней помощи усиленно пропагандировалось в начале XIX века и детской литературой. Так, в очень популярном в те годы детском сборнике «Золотое зеркало» была помещена «сказочка» «Мальчик, который сам себя обувает и одевает». Мы приведем ее целиком.

Маленького мальчика, хотя в доме и были слуги, уговаривали родители его, чтобы он, когда силы его позволяют, одевался сам, не ожидая помощи от других. «Ты сам не знаешь, — говорили они, — в состоянии ли ты будешь всегда держать слуг; или может и то случиться, что люди твои, исправляя для тебя нужнейшие дела, не будут иметь времени подавать тебе одеваться; при том же Бог дал тебе руки, конечно, не напрасно, а для того, чтобы ты употреблял их для своих нужд».

Мальчик беспрекословно последовал увещаниям своих родителей. Ему указали несколько раз, как должно одеваться; он смотрел на то со вниманием и приучался мало-помалу сам одеваться и обуваться. А как увидел, что ему час от часу легче становится, то вскоре стал и досадовать, когда слуга ему помогал. Через несколько недель он так к тому привык, что без всякого труда мог одеваться.

Когда случалось ему видеть, что молодым людям слуги надевали чулки или башмаки, то спрашивал всегда их, не хромы ли они, или не болят ли у них руки; ибо, говаривал он, покуда есть у меня руки, я никогда не допущу к тому других.

Отец был очень доволен сим намерением своего сына и говорил: «Если он сделается когда-нибудь знатным господином, то может тогда поступать по своему произволению и не зависеть от своих слуг».

Как считали современники, «людская» и «девичья», то есть мир дворовых, служили для маленького дворянина «главной, нередко единственной школой национального чувства; она роднила ребенка с народом, воспитывала в нем способность понимать народную жизнь, убаюкивала его с пеленок чарами народной поэзии и зароняла в его впечатлительную душу чисто народные воззрения, поверья и наклонности, которые часто неизгладимо впечатлевались в нем на всю жизнь».



Здесь ребенок знакомился с простонародными песнями, плясками, играми, постигал все богатство родного языка — от набора присловий и поговорок до... да, и матерщины тоже, осваивал фольклор и мифологию в виде сказок, «страшилок» о леших, привидениях, мертвецах и чертях (один из мемуаристов замечал: «Мужик Федор Скуратов сказывал нам сказки

и так настрашал меня мертвецами и темнотою, что я до сих пор неохотно один остаюсь в потемках»). От дворовых, от любимой няни дети узнавали и народные приметы, поверья и суеверия — и запоминали на всю жизнь.

Т. П. Пассек рассказывала о своей няне: «Дела свои Катерина Петровна вела не просто, а соображаясь с приметами, и всегда выходило точь-в-точь. Приметы у нее основывались одни на явлениях природы, барометром другим служила кошка. Если на чистом небе были не видны мелкие звезды, она готовилась летом к буре, зимой — к морозу. Звездные ночи в январе предвещали ей урожай на горох и ягоды; гроза на Благовещение — к орехам; мороз — к груздям. Когда кошка лизала хвост — Катерина Петровна ждала дождя, мыла лапкой рыльце — вёдра, стену драла — к метели, клубком свертывалась — к морозу, ложилась вверх брюхом — к теплу. Сама она постоянно носила в кармане орех-двойчатку на счастье, и в ее хозяйстве все шло очень счастливо».

Многие дворяне (особенно в XVIII веке) вполне усваивали народные вкусы и пристрастия: жить не могли без быстрой езды, без народных развлечений и «национального спорта» — медвежьей травли, кулачных боев, восхищались народной песней, пляской и т. п. Граф А. Г. Орлов не только сам бился на Масленицу на кулачки на льду Москвы-реки, куда сходились бойцы со всего города, но и приводил с собой юных племянников Михаила и Алексея, которые тоже участвовали в детской части ристалища. Князь П. А. Кропоткин рассказывал, как его мать, бывало, «любовалась с балкона на крестьянские хороводы, а потом не утерпит и сама присоединится к ним».

Многие провинциальные помещики при самом искреннем благочестии, частом посещении церкви, поездках и хождениях в дальние монастыри и т. п.

очень долго столь же искренне верили всем усвоенным от нянек приметам (даже самым случайным), гаданьям, снам, боялись бук и леших, носили с собой разные корешки и камушки для оберега, обходили стороной попадавшие на земле или на полу бумажки («вдруг это кем-нибудь нарочно подброшенная бумажка с наговором»), верили в сестер-лихорадок, в цветущий папоротник, в коровью смерть, бегающую по полю в виде белой женщины, в то, что от «трясавицы» можно спастись, если трижды громко крикнуть «акфенатуга лефитутай!» («на третий день и пройдет»); запекали в хлебе, «чтобы придать хоть сколько-нибудь живости», недоношенных младенцев (так едва не уморили Г. Р. Державина), звали (от сглаза) человека не тем именем, которым крестили (Л. Н. Энгельгардта крестили Харлампием, а звали Львом) и т. д. и т. п.

Такое приобщение к народному духу не могло не наполнять жизнь некоей поэзией и оказаться полезным, особенно будущим литераторам. Я. П. Полонский справедливо замечал, что своим совершенным знанием русского языка Пушкин, Тютчев и другие поэты были обязаны «деревне, постоянно русской, несменяемой прислуге и в особенности русским нянькам, нередко на всю жизнь занимающим в сердце бывших детей место наравне с самыми близкими родными их». Безусловно, без влияния народа в лице дворовых не было бы ни Тургенева с его «Муму» и «Записками охотника», ни Льва Толстого.

Тем не менее довольно большое число родителей в XIX столетии — преимущественно из высших и средних кругов — не поощряли чрезмерно близкое общение детей с дворовыми. Одни считали фольклор «предрассудками, суеверием и невежеством», другие боялись влияния на детей слишком грубых нравов, неблагопристойных привычек (вроде сморкания на землю и вытирания рта рукавом), превратных понятий,

грубых слов и грамматически неправильных (не принятых в обществе) выражений, а также преждевременного «полового просвещения», поскольку в своих разговорах дворовые обычно называли все вещи своими именами.

В XVIII веке потеря невинности дворянским мальчиком именно с обитательницами девичьей была в общем-то нормой, тем более что дворовые, нередко обреченные хозяевами на принудительное безбрачие (по обычаю, замужняя горничная переставала прислуживать и посвящала себя собственной семье, а расставаться с хорошо обученной прислужгой барыне не хотелось), жили вне деревенской морали и славились вольными нравами. А. М. Загряжский даже рассказывал, как это могло произойти: «Девки поодиночке рассказывали мне друг про друга любовные пронырства. Камердинер мой в свою очередь не умалчивал сказывать о таких же успехах. Это побудило и меня испробовать. Я отнесся о сем к одной из старших девок, она согласилась удовлетворить мое желание, и так я познал обыкновенные натуральные действия».

Сохранялся подобный обычай и в домах, следовавших традиции начала XIX века. О бабушке М. Ю. Лермонтова Е. А. Арсеньевой современник рассказывал: «Когда Мишенька стал подрастать и приближаться к юношескому возрасту, то бабушка стала держать в доме горничных, особенно молоденьких и красивых, чтобы Мишеньке не было скучно. Иногда некоторые из них бывали в интересном положении, и тогда бабушка, узнав об этом, спешила выдавать их замуж за своих же крепостных крестьян по ее выбору».

И все же половая мораль XIX века была строже, чем в предшествующий период, и слишком ранняя осведомленность детей о сокровенной стороне жизни родителями не поощрялась.

Наиболее умные родители опасались контакта с людскими и еще по одной причине. Т. П. Пассек вспоминала: «Чтобы унять меня от излишней резвости и поприучить к порядочным манерам, стали усаживать меня в гостиную; но я, при первом удобном случае, из гостиной скрывалась в детскую или девичью, где мне было и свободнее, и веселее. Там я помещалась на большом сосновом сундуке... и принимала участие во всех интересах девичьей, вслушивалась в разговоры, в жужжание веретен, в трещанье вороб, вертевшихся с мотком ниток. В девичьей я была лицо, на мне сосредоточивалось главное внимание, со мной говорили, меня забавляли» — и вот это-то повышенное внимание дворни очень смущало некоторых родителей.

«Подобострастное благоговение, с которым там (в людской) встречают детей, им ужасно нравится. Эти возгласы: „вы наш батюшка, вы наш кормилец и поилец, вы наш красавец, вы наш умница; мы ваши рабы, смеем ли мы вас учить или перечить вам? Пожалуйте ручку“ ребенка восхищают до глубины души, и до громадных размеров развивают его самолюбие...Этот яд лести, сопровождаемый непрерывными целованиями ручек и ножек, отравляет навек иногда самую благородную природу ребенка», — писал современник.

Если запреты такого рода были последовательны и детей изолировали от людских полностью, то, вырастая, они часто едва умели говорить по-русски. Но в большинстве случаев дети умели обходить запреты, и у них с дворовыми завязывалась неявная, но прочная дружба, скрепленная общим чувством подчиненности.

Именно дворовые, как никто, могли «скрыть следы наших шалостей, сладить из лучин игрушку, которую я ценила более шаблонных игрушек, потому что могла делать с нею что хотела, — вспоминала М. К. Цебрикова, — сунуть тайком что-нибудь съестное, и всегда кусок получше, когда нас оставляли без

обеда». У детей же считалось позором жаловаться на прислугу.

Иногда, когда уезжали родители, дети вместе с прислугой устраивали вечеринки: с одинаковым увлечением играли в карты, «гусек», лото и домино, гадали по «оракулу»; играли «музыку» на гребенке, обернутой бумажкой, которой аккомпанировали бренчанием ножом по стакану или большим ножницам. Пели хором, потом пили чай (дети — молоко) с лакомствами (для этого дети приберегали гостинцы, а гости приносили орехи). Иногда на огонек заходила и соседская прислуга, порой рассказывала о своей жизни, жаловалась на жестоких господ. Дети сопереживали и учились жалеть.

«Эти вечера давали детям передохнуть от нестерпимой муштровки; мы были не подчиненными, обязанными ходить по струнке, с оглядкой, но равноправными членами нашего маленького общества; нам дышалось привольно, сдавленная детская жизнь была ключом».





Похожие маленькие праздники устраивались и в доме князя Кропоткина. По воскресеньям, когда взрослые уезжали в гости, начиналось «лучшее время». «В парадный зал скоро являлась и молодежь из горничных. Затевались всевозможные игры: в жмурки, в коршуна и т. д. Затем мастер на все руки Тихон являлся

со скрипкой. Начиналась пляска: не скучные, мерные танцы под управлением танцмейстера-француза, а живой танец — не урок. Пар двадцать кружились в разные стороны, но это было лишь вступлением к еще более оживленному казачку. Тихон тогда вручал скрипку одному из стариков и начинал вывертывать ногами такие фигуры, что в дверях показывались повара и даже кучера, желавшие поглядеть на любезный их сердцу танец.

В девять часов за нашими посылалась большая карета. Тихон, вооружившись щеткой, ползал по паркету, чтобы восстановить опять его девственный блеск.

В доме воцарялся образцовый порядок.

И если бы нас с братом на другой день подвергли самому строгому опросу, мы не обмолвились бы ни словом о развлечениях предыдущего вечера. Мы ни за что не выдали бы никого из слуг, точно так же как никто из них не выдал бы нас».

Как вспоминал А. Д. Галахов: «В свободное от учения или от присмотра родительского время уходили мы то в конюшню беседовать с кучером, то в людскую прислушиваться к толкам слуг, сходявшихся туда для обеда и ужина, то в избу на скотном дворе, где жили пастух, ключник и староста с их женами, смотревшими за птицей. Посещения эти доставляли нам большое удовольствие, да и тем, кого мы посещали, они не были ни тягостью, ни стеснением.

Не верьте тому, что скажут вам, что общение с дворней в частности, с крестьянством вообще вредно для молодых людей, принадлежащих к образованному кругу. В известном возрасте — может быть, но в годы детства и отрочества оно, как выразился один критик, никакого вреда, кроме великой пользы, не приносит... Никакой наукой, никаким чтением нельзя заменить потом этого раннего знакомства с народом —

знакомства непосредственного, живого, которое  
вливается в кровь и претворяется в плоть».

## **VI. «Держали нас строго»**

Значительную часть описываемого времени в воспитании дворянских детей весьма активно применялись меры физического воздействия, то есть, попросту говоря, порка. В XVIII веке пороли практически всех детей; в начале XIX (нравы смягчились) — около 90 %; в конце века — все еще около 30 %.

В допетровское время необходимость телесных наказаний детей была аксиомой. В Писании («Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова» и «Притчи Соломоновы»), в трудах Иоанна Златоуста и многих других авторитетных авторов содержались на этот счет самые недвусмысленные рекомендации: «кто любит сына своего, тот пусть чаще наказует его, чтобы впоследствии утешаться им», «нагибай шею дитяти своего в юности и сокрушай ребра его, доколе дитя молодо, дабы, сделавшись упорно, оно не вышло из повиновения тебе»; «кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына своего, а кто его любит, тот с детства наказывает его»; «лелей дитя — и оно устрасит тебя, играй с ним — оно опечалит тебя; не давай ему воли в юности и не потворствуй неразумию его» и т. д.

В XVIII веке традиция продолжалась. В одном нравоучительном труде начала столетия говорилось: «Человек без наказательства, словесная сущи, скоту подобен и бывает паче скота горший». Симеон Полоцкий писал: «Розга буйство от сердец детских отгоняет». Иван Посошков, поучая своего сына, что человек должен быть добрым, скромным, честным, должен самым добросовестным образом исполнять свои обязанности, тоже не сомневался в необходимости воспитывать детей в строгости и наказании: «Кой

человек в наказании возрастет, той всегда добрый человек будет».

Одним словом, воспитания без розги очень долго вообще не понимали.

Голоса протеста стали раздаваться лишь во второй половине XVIII века. В 1766 году известный деятель русского просвещения И. И. Бецкой писал, что «не должно бить детей почти никогда, а паче не следовать в жестоких наказаниях безрассудным и свирепым школьным учителям; не упоминая, что от сего приходят дети в посрамление и уныние, вселяются в них подлость и мысли рабские, приучаются они лгать, а иногда и к большим обращаются порокам. Всякие побои, кроме того, что чувствительны, по всем физическим правилам, без сомнения, вредны здоровью». И при Екатерине II пороть детей стали несколько меньше, зато при Николае I — вновь больше. Телесные наказания в его царствование были узаконены во всех учебных заведениях.

Пороли преимущественно маленьких детей (лет до десяти), причем как за проявления «злонравия» — проказы, упрямство, послушание, дурные манеры и пр., так и для прояснения ума, укрепления памяти, для вразумления в науках и так далее. В XVIII веке встречались еще семьи, в которых по субботам пороли всех детей в семье (провинившихся — за проказы, а невинных — для профилактики).

Порол своих детей А. С. Пушкин. Его сестра О. С. Павлищева сообщала в письме: «Александр порет своего мальчишку, которому всего два года; Машу он тоже бьет, впрочем, он нежный отец». Порол и поэт князь П. А. Вяземский своего шкодливого сына за то, что тот кусался, царапал сестру и однажды замахнулся на гувернантку, которая брала его за ухо. Вытягивал своих детей розгой и добрейший В. А. Жуковский. Офицер Э. И. Стогов вспоминал: «Отец, кажется, с трех

лет наказывал меня розгами, и не скажу, чтобы редко; я ужасно боялся отца, только ласка матери уменьшала мое горе».

Секли Т. П. Пассек; пороли — и сильно — и М. К. Цебрикову, по поводу чего она вспоминала: «Розги мы боялись, но не ради боли. Боль от сильных ушибов, царапин и ссадин, сдиравших не только кожу, но иногда мясо, мы умели сносить спартански, и после невольного крика, вырванного неожиданностью, мы умели подавлять и крик, и слезы, чтобы скрыть беду. Нравоучения и выговоры, тянувшие душу, были несноснее боли... Сечение за лень признавалось (нами) справедливым: не могли же старшие допустить, чтобы дети росли неучами, „мужиками“. Сечение же за упрямство считалось мезьей старших, и вызвать его значило выказать молодечество. Уступить, покориться, когда грозили розгами, значило струсить».

Жалели детей в таких случаях обычно только любящие няньки. Мемуарист В. В. Селиванов (XVIII век) рассказывал, что в семье его родительницы мать всегда находила, за что наказать детей, и почти каждый день приказывала няньке увести их в баню и высечь. «Та повиновалась приказанию барыни, брала розги, раздевала малюток, махала розгою, но била не по ним, а по полку или по чем попало, приговаривая шепотом: „Кричи громче! кричи громче!“ Дети кричали, мать в предбаннике стояла, слушала и уходила в дом совершенно удовлетворенная».

В воспоминаниях Т. П. Пассек рассказывается: «Провинившись в чем-нибудь, я пряталась к ней (няне Катерине Петровне) в комнату, залезала за шкаф или под ее кровать, на которую она садилась и стерегла меня. Когда отец или мать, найдя меня, вытаскивали из-под кровати, она вырывала меня из их рук, загораживала собой, растянувши свою широкую юбку между мной и ими, и поднимала с ними перебранку;

выпроводивши их, выпускала меня из-за юбки и, продолжая ворчать, гладила по голове, приговаривая: „Нишкни, не выдам, нишкни, нещечко дам“, затем мы направлялись к сундуку с лакомствами, я набивала себе ими рот и руки и оставалась у Петровны до тех пор, пока гроза проходила». Отважное поведение «Петровны» объяснялось в данном случае тем, что она была кормилицей отца и пользовалась в доме неограниченным влиянием.

Графа М. Д. Бутурлина, бывшего тогда еще в беспамятном возрасте, однажды спасла от побоев его любимая бонна-англичанка. «Эта неоценимая няня до того любила и баловала меня, — писал он, — что однажды (как рассказывали мне), когда мать моя готовилась высечь меня за что-то, Маги схватила нож и, подавая его моей матери, молвила: „Извольте лучше зарезать меня этим ножом“». Кажется, после этого случая употребление розги в семье Бутурлиных и прекратилось; во всяком случае, позднее Бутурлина подобным образом не наказывали, хотя, как он писал, «держали нас строго».



После 11-12 лет к порке прибегали редко — чаще продолжали использовать менее травмирующие наказания, известные, впрочем, и малым детям: сажали на стул, с которого нельзя было встать, доколе не позволят, ставили в угол или на колени, оставляли без сладкого, без обеда, без прогулки, устраняли от общей игры, лишали давно обещанной поездки или удовольствия, изгоняли из классной комнаты за безобразия во время урока и т. п. Некоторые воспитательницы прикалывали девочкам на грудь или спину бумажку, на которой крупными буквами указывали провинность: «лентяйка», «неряха» или цепляли к платью испорченное рукоделие или грязно написанный диктант.



Во многих случаях серьезнейшей дисциплинарной мерой была угроза пожаловаться отцу, которого дети обычно боялись, как огня.



Редко, но встречались и совсем поздние случаи родительского наказания. Красочный случай на эту тему описан в воспоминаниях Т. П. Пассек. Один из ее родственников, молодой офицер, имевший уже награды, приехав в отпуск к родителям, имел неосторожность ослушаться воли отца, несмотря на неоднократные его просьбы (дело было в начале XIX века). Отец наломал березовых веток и вызвал сына к себе: «Я много раз просил тебя беречь моих лошадей, но ты не счел нужным обратить на это внимания, ну, так я как отец считаю нужным научить тебя уважать слова родителей — снимай кресты и мундир».

«Изумленный сын, — пишет Пассек, — стал извиняться и просил объяснить странное требование. Когда же отец без объяснений повторил свое требование, он снял кресты и мундир; тогда старик сказал: „Пока на тебе жалованные царем кресты и мундир, я уважаю в тебе слугу царского, когда же ты их снял, то вижу только своего сына и нахожу долгом проучить розгами за неуважение к словам отца“. — „Помилуйте, батюшка, — завопил молодой человек, — ведь это ни на что не похоже — сечь как ребенка. Я виноват и прошу вас простить меня“. — „Ну, брат, — возразил старик, — если не считаешь долгом выполнить волю мою, ты мне не сын, я тебе не отец. Кто не чтит родителей, тот не будет чтить ни Бога, ни царя и не будет признавать никакого нравственного долга. Теперь как знаешь: или я тебя высеку, или мы навсегда чужие друг другу“.

Александр Иванович (сын) знал настойчивый нрав отца, туда-сюда повертелся, ни на что нейдет старик — разделся да и лег на пол. Рукой, дрожащей от волнения, — отец стегнул его веником и поднял — сын опустился перед ним на колени, по лицу старика катились слезы, он горячо обнял сына и благословил его».

Поощрения в дворянских семьях применялись несравненно реже наказаний. Иногда за успехи и благонравие следовала внеочередная порция сластей или дополнительная прогулка в экипаже. В семье Чайковских гувернантка придумала давать по воскресеньям наиболее успешным за неделю красный бант для ношения на груди... Но все же главной наградой для ребенка должны были служить похвалы и одобрение из уст отца и матери и само сознание хорошо выполненного долга.

## VII. Обучение грамоте

Очень рано — между двумя с половиной и пятью годами и редко позже — приступали к первоначальному обучению барчука. В первую очередь в большинстве семей ребенок должен был освоить русскую грамоту.

Долгое время грамоте учили по методике, выработанной едва ли не во времена Кирилла и Мефодия, и учили языку книжному, то есть богослужебному — церковно-славянскому. До рождения русского литературного языка перестроиться со «славянского» на современный разговорный язык было нетрудно.

Найти учителя для обучения грамоте не составляло проблемы: грамотно было большинство духовенства (но не все: изрядное число священников, особенно сельских, не умея читать, однажды и навсегда заучивали богослужебные тексты наизусть и так с этим потом и жили). Поэтому пригласить в дом дьячка, дьякона или даже отца протоиерея для наставления дитяти в «славянской» (церковнославянской) и «русской» (то есть гражданской) азбуке не составляло труда.

Сперва, как водится, заучивали алфавит, потом переходили к «складам» — и вот тут на пути ребенка выросло первое серьезное препятствие. Полагалось выучить названия букв — «аз», «буки», «веди», «глаголь», «покой», «твердо» и т. д., — и это детям давалось легко, тем более что в объяснениях и толкованиях учителя славянские наименования букв сопровождались нравоучительными сентенциями: сочетание букв «веди, глаголь, добро» означало, что Бог ведает помыслы людей, «живете, земля, и, како, люди, мыслете» — что Он знает, как живут на земле

люди и как они мыслят; «наш, он, покой» — что Он нас успокаивает; «рцы, слово, твердо» — что человек должен держать свое слово твердо и т. д. Все это много способствовало запоминанию.

Но во время освоения «складов» ребенку предлагалось сначала назвать буквы, входящие в конструкцию, а потом уже произносить, как они звучат, — и вот тут возникала заковыка. Большинство детей очень долго не могло догадаться, что сочетание, к примеру, «мыслете», «рцы», «аз» означает «мра», а «веди», «аз», «глаголь» — «ваг» и т. д. Непониманию способствовало и то, что старинные азбуки изобиловали слогами случайными, ничего не означающими.



Хорошо было Афанасию Фету, который прежде русской выучился немецкой грамоте. «Вероятно, привыкнув к механизму сочетания немецких букв, — вспоминал он, — я не затруднялся и над русскими: аз, буки, веде; и вскорости... не без труда пропускал сквозь зубы: взбры, вздры и т. п.».

Большинство других детей переходило от алфавита к чтению со значительным трудом. Когда-то даже боярский сын Варфоломей — в будущем преподобный Сергей Радонежский — забуксовал перед этой преградой и долго страдал и маялся из-за

невозможности постичь грамоту, пока не явился ему чудесный старец и не вложил в голову разумение (сюжет, известный по картине М. В. Нестерова «Видение отроку Варфоломею»),

Для некоторых детей на этой стадии учение и заканчивалось. Так, мемуаристка Е. И. Елагина вспоминала о своих родственницах, чье детство пришлось на первую половину XVIII века: «Мария Григорьевна Безобразова... была по-тогдашнему хорошо образованна, ибо умела читать и писать. Сестра ее Александра Григорьевна сего не достигла. Она подписывала бумаги под диктовку своего крепостного писаря; он говорил ей: „Пишите „аз“ — написала. — Пишите „люди“ — написала „люди“, — повторяла она и т. д.“. То есть, как видим, названия букв и их начертание были усвоены, а складывать их в слова госпожа Безобразова так и не научилась.

И все же через несколько недель или месяцев, благодаря догадке или наитию, дети начинали понимать и склады, после чего дело шло гораздо веселее, и в год или два осваивалась и вся остальная первоначальная премудрость.

После азбуки учили читать часослов и Псалтырь — наиболее распространенные и доступные книги, которые имелись не только в храмах, но и во многих грамотных семьях. Придавалось большое значение самому содержанию их: детское сознание запоминало много нравоучений, которые глубоко укоренялись в душе, становясь основой последующей нравственности и уже сознательной веры. Завершало цикл обучения чтение „Апостола“. Если почему-либо этой последней книги прочесть с учителем не привелось, то обучение чтению считалось неоконченным. „Сообщить сразу умение читать всякую книгу тогда признавалось невозможным“, — писал современник. Зато когда „Апостол“ бывал пройден, родители не скрывали своего

удовольствия и всячески поощряли детей пользоваться их новыми навыками.

А. Т. Болотов вспоминал, как через год после начала освоения грамоты он уже мог читать „Апостола“ и кое-что (отрывок из „Послания к Коринфянам“) знал наизусть. „Родитель мой так был тем доволен, что пожаловал мне несколько денег на лакомство“.

Д. И. Фонвизин рассказывал: „В четыре года начали учить меня грамоте, так что я не помню себя безграмотного...Как скоро я выучился читать, так отец мой у крестов (во время богослужений. — В.Б.) заставлял меня читать. Сему обязан я, если имею в русском языке некоторое знание. Ибо, читая церковные книги, ознакомился я с славянским языком, без чего русского языка и знать невозможно“.

В начале XIX века, когда методы преподавания изменились и часослов с „Апостолом“ перестали быть обязательными учебными книгами, гражданскую азбуку осваивали раньше „славянской“, но и она давалась детям достаточно легко. Как свидетельствовал А. Д. Галахов, церковно-славянская грамота „была не новым предметом учения, а непосредственной прибавкой к старому — грамоте русской. Мне показали только те буквы церковно-славянского алфавита, которых нет в русской азбуке, разное начертание некоторых знаков и слова под титлами, и дело было готово. Чтение же утренних и вечерних молитв перед обедом и после обеда и других служило практикой“. Впрочем, в это время многие родители вообще откладывали знакомство своих чад со славянским языком до систематических уроков Закона Божия со специальным учителем или в учебном заведении.

Писать дети учились либо параллельно с изучением азбуки, либо отдельно, после того, как бывала пройдена Псалтырь. Писали мелом на обожженной дощечке или грифельной доске, а гусиные перья и чернила

домашнего изготовления стали давать детям позднее — бумага долгое время стоила довольно дорого. Некоторые так привыкали к грифельной доске, что и позднее пользовались ею охотнее, чем бумагой, — к примеру, Г. Р. Державин.

Впрочем, во многих семьях, особенно если сыновей готовили к гражданской службе, с обучением письму могли подождать: для успешной карьеры чиновнику совсем не лишним оказывался хороший почерк, а обрести его считали возможным лишь с помощью толкового учителя чистописания. Как вспоминал А. А. Фет, „отец весьма серьезно смотрел на искусство чистописания и требовал, чтобы к нему прибегали хотя и поздно, но по всем правилам под руководством мастера выписывать палки и оники“. Учились письму исключительно по прописям, а „метода, — по словам А. Д. Галахова, — состояла в списывании с прописей, причем наблюдалось только, чтобы ученик не отступал в начертании букв от образца. Все требования ограничивались тем, чтобы письмо было чисто, разборчиво и по возможности красиво“, на правописание же внимания никто не обращал. Чистописанием занимались только на бумаге и непременно гусиным пером, даже долго после того, как появились металлические.





Уже в конце XVIII века возникали новые методики обучения грамоте и зачастую ими пользовались не наемные учителя, а сами члены семьи.

„Видя, что я с утра до вечера вольничаю и играю с дружиною ребятишек, — вспоминал С. Н. Глинка, чье детство пришлось на 1780-е годы, — дядя дня через три (после приезда) сказал матери своей (бабушке мемуариста. — В. Б.): „Пора вашему Сереже приниматься за ученье: стыдно нам будет перед его родителями, если упустим время. Его готовят в кадетский корпус, ему шестой год, а он и в азбуку не заглядывал“. Он упросил и выпросил позволение быть моим наставником... Под сводом неба, то прогуливаясь со мной в саду, то усаживаясь под липы и яблони, он высказывал мне буквы и показывал на начертание их.

Нераздельно учил он меня и изображать их карандашом на бумаге и выговаривать буквы. И какая была бумага цветная, какие красные карандаши!“

Широкое распространение в XIX веке получили разрезные азбуки, которые помогали выучиться чтению быстро и легко.

Е. А. Сушкову грамоте учила мать. „У нее была своя метода: даст, бывало, мне несколько вырезанных букв, сложит слова: папа, мама, Лиза; растолкует мне, как произносить, как складывать их, смешает буквы, и я над ними и начинаю трудиться. Когда привыкну складывать, она мне покажет, как надо их писать на бумаге; таким образом очень скоро выучилась я и читать, и писать. С каким, бывало, восторгом я отыщу в ее книге то слово, которое я умела составить; мне кажется, я не больше недели училась, как уж начала читать „Золотое зеркало“. Прежде, бывало, матушка прочитает мне вслух, с расстановкой, одну сказочку, потом я“.

Подобным же образом освоила грамоту М. В. Беэр. „Я не помню, как я выучилась читать, — писала она. — Знаю, что выучилась сама по разрезной азбуке. Моя мать и Алеша (который был на восемь лет старше) часто играли в эти буквы, задавали друг другу слова, сидя по разным комнатам. Я же была почтальоном и носила смешанные буквы от одного к другому, и тут я выучилась читать.

Очень хорошо зато помню, как я выучилась писать. Считалось тогда вредным учиться писать твердыми железными перьями. Писала я гусиными. С них капало, я кляксы размазывала. Мама меня бранила, я плакала, и от слез кляксы увеличивались“.



Во второй трети XIX века старинный способ освоения грамоты почти повсеместно был вытеснен новым, звуковым, тем, что мы используем и доныне, но кое-кто из тех, кто учился в старину, даже жалел о происшедшей перемене. „Старинное название букв, ныне всеми забытое, — писал Я. П. Полонский, — может быть, имело в себе некоторую силу действовать на воображение. Сужу по себе... Для меня, шестилетнего ребенка, каждая буква была чем-то живым, выхваченным из жизни. Стоять „Фертом“ (ф) значило стоять подбоченившись. Поставить на странице большой „Хер“ (х) значило ее похерить. Чтобы был „Покой“ (п), надо сверху накрыться, а иногда „Покой“ казался мне чем-то вроде ворот или дверки с перекладиной на верху, тогда как „Наш“ (н) был перегороден на самой середине, чтобы к нашим никто пройти не мог. Современная звуковая метода тем хороша, что действует на ум, каждое слово разлагает на гласные и согласные и указывает на их разницу в произношении. А, б, в, г... гораздо проще и, так сказать, рациональнее, чем Аз, Буки, Веди... но современная метода уже не одною лишнею поговоркой не уснастит русской народной речи. „Это еще Буки“, „Он Мыслете пишет“, „Ижица — розга близится“ и т. д.“.



Обучение грамоте для дворянского ребенка было важным этапом. Собственно, в XVIII веке на этом образовании для большинства детей, особенно девочек, вообще заканчивалось. Как свидетельствовал М. А. Дмитриев, в те времена „учились читать и писать; в учении ограничивались этим. Но и то еще одни люди богатые и избранные. Бедные дворяне ничему не учились; привыкали только к хозяйству. Барыни и девицы были почти все безграмотные...“. А Я. П. Полонский писал: „Бабушка моя получила свое

воспитание, надо полагать, в конце царствования Елизаветы, то есть выучилась только читать и писать... Почерк у нее был старинный, крупный и наполовину славянскими буквами“.



Но даже если образование продолжалось, к русскому языку во многих случаях дети уже не возвращались — занимались французским языком и другими предметами. Результатом было часто встречавшееся, особенно у дам, написание слов „как слышится“ и полное отсутствие знаков препинания. Вот, к примеру, образчики таких писем, авторами которых были весьма родовитые дамы, чье знание родного языка не вышло за рамки начальных уроков грамоты: „Варенка посылает к тебе Николушка амиот сварить пришло повара спаваренным которой едит киев там засвидетелствуй письмо мое“ (Е. Н. Давыдова —

брату, графу А. Н. Самойлову). „Как ты думаиш где лутчи в Питер или в Москву. И есть резон. Первая расъсеиннее и сестре штонибуть придастaвить кудоволствию да и мамзель паискать палутчи вот май виды“ (Е. А. Языкова — сыну, поэту Н. М. Языкову).

## VIII. Чему еще учиться?

Чему учиться дальше, после того как освоена грамота, долгое время зависело от обстоятельств. Никакого единомыслия в этом вопросе поначалу не было. И хотя перед русскими дворянами имелись определенные европейские образцы, дело во многом тормозилось как отсутствием серьезных мотиваций к получению полноценного образования, так и отсутствием квалифицированных учителей, нормальных учебных заведений, да и просто образованных людей, способных передать ребенку что-нибудь из своих знаний. В итоге в каждой семье детей учили по-своему: главное — какого учителя или наставника удавалось раздобыть.

Впрочем, Россия в этом отношении вряд ли была исключением. Известно, что в Англии еще в первых десятилетиях XVIII века имели успех такие "общеобразовательные" заведения, в которых обещали учить молодых людей языкам: греческому, латинскому, еврейскому, французскому и испанскому, — коническим сечениям, геральдике, искусству наводить японский лак, фортификации, бухгалтерии и игре на торбане. (Об этом говорится в "Истории Англии" известного британского историка М. Маколея.)

Практически во всех русских мемуарах XVIII века описан тот достаточно причудливый путь, которым шел юный дворянин к получению образования.

Достаточно типична история обучения Матвея Артамоновича Муравьева (деда известных декабристов Муравьевых-Апостолов), появившегося на свет в 1711 году и даже "удостоившегося чести быть носимым на руках" самим царем-преобразователем, однажды гостившим в их доме. Почти одновременно с русской



грамотой он стал учиться по-немецки у пленного шведского офицера. Это было во времена Северной войны, а жили Муравьевы в Кронштадте, где такого рода наставники имелись в изобилии. Потом пленных вернули домой, учитель Муравьева уехал, и язык так и остался недоученным.

Какое-то время спустя подвернулся "штурманский ученик Рославлев", и Матвей Артамонович вместе с братьями был отдан к нему в обучение математике. "Мы начали учиться, — вспоминал он, — то не может быть никому вероятно, что... выучили в три месяца арифметику, геометрию, штир-геометрию, план-геометрию, тригонометрию, плоскую навигацию и часть меркаторской исверики". Было Муравьеву в то время лет одиннадцать.

Потом столь блистательно возобновленное учение снова прекратилось: детей по семейным обстоятельствам отправили в деревню и "наука у нас почти вся <была> забыта", — вспоминал Муравьев.

Завершил он свое учение года через полтора-два, вновь вернувшись в Кронштадт. "У меня ж охота была к наукам, хотелось очень мне зачатое учение окончить, — рассказывал Матвей Артамонович. — Ходил в Штурманскую школу, которую тогда обучал штурман Бурлак (он был опробован государем (Петром I), когда изволил ходить в Низовой корпус), тогда я больше понял. И как исполнилось <мне> пятнадцать лет, по записке ж нас в службу <потребовали>... Брат пожелал в полк к деду, а я в школу Инженерную. Но как я довольно уже знал математики, то время не прошло двух месяцев, <как> представлен был в контору инженерную. Тогда командующим был Любрас, который свидетельствовал сам меня и по свидетельству пожаловал кондуктором в первой класс, и присвоил меня в свою команду". Вот так закончилось образование пятнадцатилетнего Матвея, и он начал служить, служил военным инженером, строил

впоследствии вполне успешно крепости и каналы, снимал планы и опытным путем постигал то, что недобрал образованием.

Известный агроном А. Т. Болотов сперва учился писать у писаря, потом — арифметике и немецкому у офицера-немца, выучившись читать и писать, но не говорить, дальше поступил в пансион, где проучился недолго, но, как впоследствии писал, "в сем-то месте и в сие-то время впечатлелись в меня первейшие склонности к наукам, искусствам и художествам, продолжавшиеся потом во всю мою жизнь".

Князь И. М. Долгорукий вспоминал: "Я учился немецкому языку, учился два года и слова не затвердил; славный Matécín учил меня фехтованию — и я принялся за ремесло рубаки прекрасно; Missoly и Grangé выправляли мне ноги — и я плясал изрядно; старый артиллерийский сержант занимал меня математическими упражнениями, но — грешный человек — дошел до дележа и в пень стал у дробей". Кроме этого шестнадцатилетний Долгорукий учился еще музыке, рисованию, верховой езде и барабанному бою — и, как уверял, преуспел лишь в последнем.



Во второй половине столетия ситуация изменилась не сильно. При том, что и учителей, и учебных пансионов прибавилось, а представление о том, какие именно науки необходимы дворянскому недорослю,

несколько конкретизировалось, в целом образование продолжало оставаться обрывочным и бессистемным.

Характерна для этого времени история Льва Николаевича Энгельгардта. Он появился на свет в 1766 году. После обучения чтению по-русски нашли учителя, "отставного поручика Петра Михайловича Брауншвейга, учить меня писать по-русски, первым четырем правилам арифметики и по-немецки". Одновременно отыскался и учитель французского языка, к которому ученик сам ходил на дом.

Через два года семья Энгельгардтов переехала в другое место и в городе по соседству обнаружила пансион, который содержал некий Эллерт. Туда и поместили мальчика — на один год. "Правду сказать ежели, — вспоминал Лев Николаевич о своем наставнике, — он касательно наук был малосведущ, и все учение его состояло, заставляя учеников учить наизусть по-французски сокращенно все науки, начиная с катехизиса, грамматики, истории, географии, мифологии без малейшего толкования; но зато строгостию содержал пансион в порядке, на совершенно военной дисциплине, бил без всякой пощады за малейшие вины ферилами (то есть хлыстами. — В. Б.) из подошвенной кожи и деревянными лопатками по рукам, секал розгами и плетью, ставил на колени на три и четыре часа, словом, совершенный был тиран. <...> Много учеников от такого славного воспитания были изуродованы, однако ж пансион был всегда полон. <...> Однако ж, касательно мальчиков, в самодержавном правлении умеренная строгость не лучше ли неупотребления телесного наказания? Нужно, чтобы они с юности попривыкли, даже и к несправедливостям", — философски заключал Энгельгардт.

Естественно, что "ферилой" в пансионе Эллерта "лечили" не только детские проказы и непослушание,

но и учебные неуспехи, невнимательность и плохую память.

Помимо перечисленных предметов, Энгельгардта приобщили также к математике, фехтованию и танцам. Через год он вернулся домой и вспоминал потом, какое впечатление произвел на родных: "В каком восхищении были мои родители, увидя меня выправленного, танцующего на балах, говорящего изрядно по-французски и о всех науках, как попугай, но ничего не понимающего, что и вскоре все забыл!"

Лишь последние этапы своего образования Лев Николаевич прошел более осмысленно. Он готовился в офицеры, коим полагалось знать математику, и потому еще год провел в новоучрежденном частном кадетском корпусе С. Г. Зорича, где занимался в основном именно этим предметом, а напоследок несколько месяцев поучился еще "практической геометрии и геодезии" у обер-квартирмейстера М. М. Щелина, приятеля отца. "Сим заключилось мое воспитание", — писал Энгельгардт.

Сходным образом скакал то в один, то в другой пансион будущий поэт и министр юстиции И. И. Дмитриев, а в промежутках дома по настоянию отца и под его надзором повторял пройденное.



Генерал С. А. Тучков вспоминал: "На третьем году возраста начали уже меня учить читать по старинному букварю и катехизису, без всяких правил. В то время большая часть среднего дворянства таким образом начинала воспитываться. Между тем не упускали из вида учить меня делать учтивые поклоны, приучали к французской одежде... Один унтер-офицер, знающий хорошо читать и писать, но без грамматики и орфографии, учил меня читать по Псалтыри, а писать с прописей его руки. Итак, первый мой учитель был дьячок, а второй — солдат. Оба они не имели ни

малейшей способности с пользой и привлекательностью преподавать бедные свои познания. Два года продолжалось сие учение, после чего отдан я был в школу одного лютеранского пастора. Сей почтенный муж знал хорошо латинский, французский, немецкий, шведский и российский языки, преподавал богословие, историю и географию. Но я учился у него одному только немецкому языку, продолжая вместе учиться и по-русски". Через два года отца Тучкова перевели по службе в Киев. "По прибытии в Киев начал я учиться французскому языку, продолжая изучать немецкий и русский, а с тем вместе историю и географию. Но тот, кто преподавал мне русский язык, ни малейшего понятия не имел ни о грамматике, ни о правописании, а старался только научить меня бегло читать и чисто ставить буквы".

Если в среднем и низшем дворянских кругах большинство проблем воспитания и образования детей упиралось в деньги и, так сказать, кадры, то в слое более знатном и состоятельном — столичной аристократии — уже в середине XVIII столетия к воспитанию и образованию стали подходить более сознательно. Эта прослойка дворянства все больше стремилась не только помочь своим сыновьям добиться успехов на государственной службе, но и желала дать детям вполне европейское по уровню образование. Сделать это можно было в те времена, обеспечив качественное домашнее воспитание с профессиональными педагогами-иностранцами либо отправив ребенка за границу. При этом все чаще встречались родители, которые много размышляли о воспитании и образовании детей и даже записывали свои мысли. Впрочем, на то и эпоха Просвещения: проблемы просвещения и образования всерьез занимали тогда умы дворянской элиты, а в 1762 году

барон Гримм даже писал, что разговоры на эти темы стали настоящей "манией этого года".

Довольно часто в семьях высшей аристократии родители (главным образом, отцы) не только штудировали новейшие на тот момент педагогические труды — Локка, Руссо и Коменского, а чуть позднее и Песталоцци, но и составляли подробные "планы воспитания", включавшие перечень знаний, который необходимо или желательно иметь детям, мест, где они будут проходить обучение, и лиц, которые будут их обучать.

Одна из первых известных инструкций этого рода связана с именем графа К. Г. Разумовского, младшего брата известного фаворита императрицы Елизаветы Петровны Алексея Разумовского.

Как известно, семья Разумовских (Розумов) была происхождения самого простого. Отец их был рядовой казак, и в детстве мальчики обучились только грамоте — и то по добросердечию местного дьячка. Зато после того, как Алексей "попал в случай" и, после воцарения Елизаветы Петровны, был с нею, как говорили, даже тайно обвенчан, перед остальными представителями семьи открылись самые заманчивые перспективы. И первым делом Алексей Григорьевич озаботился воспитанием и образованием восемнадцатилетнего брата Кирилла. Его вызвали в Петербург, вверили попечениям одного из просвещеннейших людей того времени — Г. Н. Теплова и вместе с ним отправили обтесываться за границу. По этому случаю от имени А. Г. Разумовского и были вручены Г. Н. Теплову и самому Кириллу особые инструкции.

Кирилл должен был выучиться, "дабы учением наградить пренебреженное поныне время, сделать себя способнее к службе Ее Императорского Величества и фамилии своей впредь собою и поступками своими принести честь и порадование" а кроме того, "крайнее



попечение иметь о истинном и совершенном страхе Божии, во всем поступать благочинно и благопристойно и веру православную греческого исповедания, в которой вы родились и воспитаны, непоколебимо и нерушимо содержать".

Помимо забот о сбережении здоровья и благонравия, наставник юноши должен был "закон православного греческого исповедания не только в нем наблюдать, но и стараться, по вашему благоразумию, далее его в том наставлять, как то вам самим известно, что начало всей человеческой премудрости — страх Божий". Что же касалось учебной программы, то автор инструкции писал: "Перво всего, я думаю, учиться Кириле Григорьевичу немецкого языка, а когда в том несколько навывкнет, то и французский начать надобно, дабы, во Францию приехавши, мог он хотя несколько по-французски говорить... Между тем арифметике, географии, истории универсальной учиться он должен, и к тому також особливое прилежание употреблять... Для лучшей стройности тела его и для забавы учить его танцевать, фехтовать и на лошадях ездить".

Кирилл провел за границей около двух с половиной лет; учился в Кенигсберге у известного математика Л. Эйлера, потом в Страсбурге и вернулся в Россию вполне европейским кавалером: "отлично танцевал, говорил по-французски и по-немецки; бросился в вихрь развлечений и празднеств при дворе, и все красавицы были от него без ума". Через несколько месяцев, 21 мая 1746 года, двадцатидвухлетний Разумовский был назначен президентом Академии наук "в рассуждении усмотренной в нем особой способности и приобретенного в науках искусства". И эту должность он вполне "потянул": дела при нем шли хоть и не лучше, но в общем и не хуже, чем при его предшественниках.

В дальнейшем, как писали историки, "несмотря на воспитание, путешествие и придворную жизнь, он все-

таки остался казаком и признавался, что, как заиграют на бандуре, он должен поскорее вспомнить, кто он, чтобы не пуститься в гопак. Говорят, что он хранил костюм своей юности, когда еще пас волов, и любил показывать его своим не в меру кичливым сыновьям; впрочем, от одного из них должен был выслушать вполне резонный ответ: "Между нами громадная разница: вы сын простого казака, а я сын русского фельдмаршала"".

После путешествия К. Г. Разумовского образовательные вояжи юных дворян вошли в аристократическом кругу в моду.

В Европе отыскать учителя на любой предмет не было проблемой, и можно было надеяться, что обучение не прервется внезапно на половине курса. Кроме того, путешествие расширяло кругозор отрока, давало неоценимую и настоящую языковую практику и благодаря общению с представителями лучшего тамошнего общества существенно улучшало манеры. Так, во всяком случае, стали считать.

В 1770-х годах для завершения образования за границу ездили князья Александр и Алексей Куракины и, по данной им инструкции, по часу ежедневно занимались языками — французским, немецким и латинским, а также историей, математикой и "правом" (штудировали какую-то компиляцию из популярных в то время законоведов Пуффендорфа и Гуго Гроция), и по часу через день — музыкой и фехтованием.

Князья Хованские, шестнадцати и семнадцати лет, доучивались за границей тоже по инструкции, составленной их отцом. "Я не указываю точно, какими именно науками должны они заниматься, — писал старый князь, обнаруживая основательную начитанность в тогдашней педагогической литературе, — но нахожу тем не менее нужным особенно указать риторику, логику и физику, затем

право публичное и право естественное, с которыми я соединяю и нравоучение, так как эти две науки чрезвычайно близки одна к другой; сыновья мои должны также пройти курс юриспруденции и институции Юстиниана. Науки математические надо тоже усвоить сколько можно более, особенно те, которые ближайшим образом относятся к военному искусству, каковы фортификация, тактика и др.; надо познакомиться и с навигацией, но что касается этой последней, то достаточно, если они будут иметь о ней общее понятие. История, и в частности история политическая, рекомендуется вашему особенному вниманию. География также необходима, но я думаю, что ее можно изучить на дому. Надо брать уроки искусств, каковы музыка, рисование, гражданская архитектура и l'art de tenir les livres<sup>[1]</sup>.

Сыновья мои должны также продолжать занятия языками — французским, немецким, английским и другими, если будет можно". Кроме того, князь Хованский желал, чтобы дети занимались верховой ездой и фехтованием, и, само собой, много внимания должно было быть посвящено обзору местных достопримечательностей. И на все про все отводилось... два года.

Очень достойно выглядела инструкция, написанная в 1780-х годах князем А. М. Голицыным, опекуном троих племянников-сирот, для их воспитателей.

Дети должны были не только путешествовать по Европе и знакомиться с ее культурными и историческими памятниками, но и периодически слушать лекции в знаменитых европейских университетах. Приставленные к детям гувернеры в первую очередь обязаны следить за их физическим и моральным здоровьем, без чего науки не пойдут им впрок. Необходимы были и физические упражнения, и

гигиенические процедуры, умеренность в еде и скромность в одежде. Детей следовало оберегать (и тщательно) от дурных примеров и влияний, но вместе с тем не следовало изолировать их от мира, и изредка (раз в неделю) подростки должны были бывать в приличных обществах, а иногда и в театре, "когда представляться будут пиесы, не имеющие ничего противного добронравию и благопристойности. Я сие средство почитаю нужным, потому что... примечаю в детях непристойную робость и застенчивость, которые могут впредь умножиться, а вкоренившись в них, могут остаться навсегда в их характере, ибо препровождать свободные часы в хорошей компании для благородного молодого человека может стоять лучшей лекции. Я повторяю, что наука света для наших молодых князей столько ж нужна, как и учение", — писал князь Голицын.



Из собственно "наук" первое место отводилось церковнославянскому языку и Закону Божию, изучение которых должно было подкрепляться посещением церкви и исполнением религиозных обрядов. Затем А. М. Голицын называл три живых языка — русский, который он именует "языком природным", французский и немецкий. Английский и итальянский языки, равно как и латынь, он считал необязательными, и изучением их подростки могли заниматься по обстоятельствам и по желанию (в итоге все три мальчика в Лейдене прослушали курс латинского языка, а один из них в Италии стал заниматься итальянским). Тут следует оговориться, что если в Европе (особенно в католических странах) латынь считалась для молодого дворянина обязательной, как язык богослужебный и

"классический", открывающий дорогу к чтению античной и средневековой литературы, то в России XVIII века ее практическое использование долгое время ограничивалось университетскими лекциями и учеными сочинениями, а учить своих детей в университете большинство аристократов не собиралось; интерес же к античной литературе возник в самом конце столетия. Таким образом, внимание к латыни было в семье Голицыных довольно оригинальным явлением.

Что же касалось наук, то А. М. Голицын был убежден, что его воспитанники должны открывать их "мало-помалу". Наставникам следовало как следует возбудить их любопытство и использовать всевозможные наглядные пособия (карты, эстампы и т. п.), только не очень скучные и не обременяющие память отроков. К числу желательных наук были отнесены география, история (в первую очередь — "история своего отечества"), мифология и геральдика. Математика нужна для тренировки умения логически мыслить и для изучения военного искусства, что необходимо для будущей военной карьеры юношей. В отношении же естественной истории, экспериментальной физики и "древностей" "не должно упражнять наших молодых князей более как только, чтоб приобрести им некоторые нужные знания для будущего путешествия по чужим краям".

Очень важным Голицын считал изучение естественного и международного права. "Из первого познают они собственные свои должности в разных обстоятельствах, в которых они находиться будут, и объяснят им правила, к основанию разумного законоустановления служащие; из второго узнают они учреждения разных правительств". Во всяком случае, знакомство с терминами юриспруденции будет полезно, "дабы они могли с плодом читать книги о законах и

правах и разумели бы как в делах, так и разговорах употребляемые выражения в сей материи".

Под конец Голицын коснулся и светской шлифовки своих подопечных — их обучения музыке, рисованию, танцам, верховой езде и фехтованию. Эти предметы "не должно почитать меньше других наук нужными. Особливо верховая езда и фехтование, кроме что принадлежит к существенному воспитанию благородного человека, не должно почитать упражнением для одного увеселения".

Таким образом, как мы видим, дворянское образование и воспитание, по мнению автора плана (как и его просвещенных современников), должны помочь будущей служебной карьере, а также приобретению познаний и навыков, необходимых светскому человеку.



Правда, последствия заграничного воспитания далеко не всегда соответствовали родительским ожиданиям.



В 1787 году обычным порядком для завершения образования отправился за границу тринадцатилетний граф Павел Строганов со своим воспитателем Жильбером Роммом. Путешественники посетили сперва Швейцарию — тогдашнюю педагогическую Мекку, потом направились во Францию и... прибыли в Париж в самый разгар революционных событий 1789 года. И революционный поток увлек обоих — и воспитателя, и воспитуемого. Скоро они уже расхаживали в красных колпаках и мундирах национальных гвардейцев, срывали голос на митингах в Якобинском клубе, куда оба записались, с жадностью читали революционные листки, пели революционные песни и аплодировали возгласам "Аристократов на фонарь!". Едва шестнадцатилетний, Строганов влюбился в знаменитую Теруань де Мерикур, предводительницу женского похода на Версаль, "амазонку революции", и вступил с нею в связь.

В декабре 1790 года по настоятельному требованию императрицы Екатерины II юного графа с некоторым трудом из Франции увезли, и впоследствии он сыграл славную роль в начальных мероприятиях царствования Александра I. А наставник его Жильбер Ромм так и остался в революционном Париже и через несколько бурных лет окончил свои дни в тюрьме.

О другом, более прозаическом, результате заграничного учения рассказывал в своих воспоминаниях граф Ф. П. Толстой. Его знакомый, князь Е. А. Голицын, "много что восемнадцатилетний юноша, был услан по тогдашней моде знатных богатых фамилий воспитываться в Париж по двенадцатому году с гувернером, разумеется, французом, которому в полное распоряжение был отдан 12-летний князь Голицын для морального и научного образования русского князя. Этот мерзавец, как и большая часть того времени гувернеров, дозволил мальчику, не

достигшему юношеского возраста, посещать все увеселительные места, которыми наполнен Париж, и пользоваться всеми слишком ранними для такого молодого мальчика, каким был Голицын, забавами и наслаждениями. Зато и возвратился он в Петербург, окончив свое парижское воспитание, совершенно уже отжившим юношею, не умевшим ценить и уважать достоинств ни женщин, ни мужчин, ничего не любивший, всем скучавший, не будучи ничем научен его гувернером, кроме французского языка и манерам, и приемам большого круга; вся его образованность и научность состояла в том, что он знал все любовные проделки и интриги королевы, придворных и всего знатного дворянства при способности во всяком отыскивать какую-нибудь смешную сторону и, увеличивая ее, ловко насмехаться над всеми. Что такое занятие, он не понимал, всем скучал, потому что все ему надоело. Он умер 24 лет от истощения физических и моральных сил".



В XIX столетии, особенно начиная с царствования Николая I, подобные образовательные поездки понемногу сошли на нет. За границу, в том числе и с образовательными целями, ездить, конечно, продолжали, но уже не дети, а взрослые юноши, для обучения в одном или нескольких европейских университетах.

После известного путешествия по России наследника престола великого князя Александра Николаевича в 1837 году (ему тогда было девятнадцать лет) такого рода внутренние путешествия тоже иногда

предпринимались дворянской молодежью, но все же были менее популярны, чем заграничные вояжи.

Каково бы ни было качество полученного юными аристократами заграничного образования, но создаваемые для них программы формировали некую образовательную модель, на которую ориентировалась и знать попроще. Дворянину средней руки, конечно, сложно было обеспечить собственным детям подобную воспитательную программу, но все же и он тянулся за знатью, а за "середняками" пыталась следовать и дворянская "мелкота".

С. А. Тучков и его братья, помимо языков, выучились в конце концов арифметике, геометрии, фортификации, артиллерии и рисованию, а также танцам, для чего ходили заниматься в местный пансион. "Но фехтовальное искусство и верховую езду почитал (отец) ненужными и говорил нередко: "Я не хочу, чтобы дети мои выходили на поединок" а о верховой езде судил он так: "Наши казаки не знают манежа, а крепче других народов сидят на лошадях и умеют ими управлять, не учась". Физику и химию, а наипаче механику хотя и почитал он нужными, но не имел случая преподавать нам сии науки. Словесность, а наипаче стихотворство (к которому С. А. Тучков как раз питал большую склонность. — В. Б.) почитал он совершенно пустым делом, равно как и музыку... Отец мой не хотел также, чтоб кто из нас учился латинскому языку и говорил, что он нужен только для попов и врачей. О греческом мало кто имел тогда в России понятие, да и теперь немногие. Теология и философия казались ему совсем неприличными науками для военного человека".

М. А. Дмитриев сообщал: в начале XIX века учились "во-первых, по-французски; потом (предмет необходимый) мифологии; наконец немного истории и географии — все на французском же языке. Под историей разумелась только "древняя", а о средней и

новейшей и помину не было. Русской грамматике и закону Божию совсем не учили, потому что для этих двух предметов не было учителей. Домашние учителя грамматике не знали, а сельские священники, исходя постепенно из дьячков, знали только практику церковной службы, по навыку, а катехизиса и сами не знали. — Так учили и меня".

Со временем программы несколько изменились: "мифология", о которой современница писала, что еще в начале XIX века она считалась "обязательной для порядочно образованной особы", ибо помогала понимать классическую поэзию, позднее исчезла; фортификация и артиллерия ушли в программы специальных школ, зато уже с 1830-х годов сделались обязательными российская словесность и презираемая ранее латынь (без которой не принимали в университет). В 1850-х же годах началось всеобщее увлечение естественными науками.

## **IX.Образование девочек**

Довольно долгое время родители обращали внимание лишь на образование сыновей, оставляя дочерей практически неграмотными. Лишь девочки из высшей аристократии, предназначенные к жизни при дворе, уже в начале XVIII века начали воспитываться в соответствии с новыми требованиями.

От придворной дамы требовалось знание иностранного языка и "политеса", умение танцевать, музицировать и, при наличии голоса, петь, а также способность немного писать (хотя бы любовную записку) и ориентироваться в той самой мифологии (чтобы не попасть впросак, если кавалеру вздумается сделать "мифологический" комплимент). Как писала историк Е. Н. Щепкина: "Со введением иноземного платья и новых обычаев среди столичной знати пытались обучать и девочек чему-нибудь, кроме церковной грамоты, но еще никто не знал, чему и как учить, и дело сводилось к тому, что их по внешности уподобляли иностранкам.

Хватались за всех, от кого могли ожидать помощи в деле воспитания".

Поначалу в наставницы нанимали "баб и девок" из Немецкой слободы, а для собственных дочерей Петр выписал уже настоящую воспитательницу из-за границы. Елизавета Петровна знала русскую грамоту (даже сочиняла "вирши":

Я не в своей мочи огонь утушить,  
Сердцем болею, да чем пособить?"),

прелестно танцевала, любила итальянскую музыку и могла говорить (не скажем — читать) на немецком и итальянском языках. Французский она знала хорошо — одно время ее готовили в жены французскому королю — и на нем, кажется, свободно читала. Научных же познаний, как и большинство девушек ее круга, почти не имела, да и не больно-то в них нуждалась. Из современниц Елизаветы, кажется, только дочери фельдмаршала Б. П. Шереметева, серьезные и умные девушки, тянулись к знаниям и, как писала Е. Н. Щепкина, "учились даже некоторым предметам из школьных программ того времени. Их гувернантка, г-жа Штуден, так сблизилась с ученицами, что последовала в ссылку за многострадальной Натальей Борисовной".

Напомним, что Н. Б. Шереметева, предвосхитив подвиг декабристок, настояла на венчании со своим попавшим в опалу женихом князем И. А. Долгоруким и по своей воле последовала за ним в березовскую ссылку, а после казни супруга, храня ему верность, бросила в озеро обручальное кольцо и постриглась в монахини.



Отличное, по светским меркам, образование получили в середине XVIII века и племянницы государственного канцлера графа М. И. Воронцова. Одна из них, знаменитая княгиня Е. Р. Дашкова, впоследствии вспоминала: "Дядя не жалел средств, чтобы дать своей дочери и мне лучших учителей, и, согласно взглядам того времени, мы получили прекрасное образование; знали четыре языка, особенно хорошо французский; некий статский советник учил нас итальянскому; когда мы изъявили желание брать уроки русского языка, с нами стал заниматься Бехтеев. Мы прекрасно танцевали, немного рисовали, к тому же обе



обладали приятной наружностью, изысканными и любезными манерами, неудивительно, что нас считали хорошо воспитанными девицами. Но что ж было сделано для развития нашего ума и воспитания сердца? Ничего".

Перелом в образовании Екатерины Романовны произошел во время болезни, когда ей было тринадцать лет. Не имея других развлечений, она погрузилась в серьезное чтение и размышления. Это и сформировало ее личность (а в пятнадцать лет она уже вышла замуж, и ей стало не до учебы).

После этого знаменательного события юная княгиня долго оставалась при русском дворе одной из двух женщин (второй была великая княгиня Екатерина Алексеевна, будущая императрица Екатерина II), которые вообще регулярно читали книги.

Менее родовитые современницы Дашковой вплоть до начала XIX века далеко не всегда могли похвалиться хоть каким-то образованием.

Отец Э. И. Стогова говорил ему: "А на что, братец, женщине грамота? Ее дело угождать мужу, кормить и нянчить детей да смотреть в доме за порядком и хозяйством, для этого грамота не нужна; женщине нужна грамота, чтобы писать любовные письма! Прежде девушка-грамотница не нашла бы себе жениха, все обегали бы ее, и ни я, ни отец мой не знали, что твоя мать грамотница, а то не быть бы ей моею женою". Такой взгляд был весьма распространенным в дворянской среде. В семье Стоговых обе бабушки были неграмотны, а мать его выучилась писать самоучкой — тайком от родных пряталась на чердаке и копировала с печатных страниц.

Знакомую нам А. Е. Лабзину выучили только читать, молитвам и рукоделию.

Немногим лучше обстояло дело и в более знатных, чем у Стогова и Лабзиной, семьях. По словам

Е. П. Яньковой (вторая половина XVIII века): "Все учение в наше время состояло в том, чтоб уметь читать да кое-как писать, и много было очень знатных и больших барынь, которые кое-как, с грехом пополам, подписывали свое имя каракулями". С подобными случаями мы уже встречались выше.

Даже пропагандистские усилия императрицы Екатерины II, стараниями которой в недавно открытом Смольном институте обучали по солидной научной программе, включавшей два языка, словесность, математику, физику, не говоря уже о "приятных искусствах", долгое время не давала результатов. Лишь после нескольких выпусков, когда бывшие институтки заняли довольно заметное (в процентном отношении) место в обществе, русская знать (о других слоях сословия речь поначалу не шла) стала, скрепя сердце, нанимать гувернанток для обучения "наукам" и девиц тоже.

Любопытно, что первые выпускницы Смольного оказались очень востребованы на брачном рынке именно как образованные девицы. Их охотно брали в жены мужчины, претендующие на "любовь к изящному" и склонные к литературным занятиям. На смолянках были женаты Г. Р. Державин, А. Н. Радищев, архитектор и поэт Н. А. Львов, поэт А. А. Ржевский и другие замечательные современники.

И все же собственно ученость в женщинах-дворянках действительно была никому не нужна. Целью воспитания и образования девочки было и оставалось прежде всего удачное замужество, а при такой цели умение танцевать было много важнее умения решать арифметические задачи.

В итоге получались дамы, у которых "научное образование, как у всех дочерей знатных придворных особ и всех богатых людей высшего дворянства, ограничивалось только умением говорить хорошо по-

французски, написать по-женски довольно правильно письмо, записочку на этом языке, с совершенным незнанием русского языка или весьма плохим умением говорить на отечественном языке. Что касается до наук, то они, по слухам, знали названия некоторых из них и могли рассказать кой-что о бывшем французском дворе Людовика XVI в Париже, о Лондоне, Вене и Берлине по сведениям, тоже по слухам приобретенным".



Постепенно, как и в случае с мужским образованием, сложилась модель, которой через какое-то время (два-три десятилетия) стало следовать и среднее и низшее дворянство.

На среднем уровне девочка должна была иметь хорошие манеры, знать, сколько требуется в светском

обществе, французский язык, немножко музыку и уметь грациозно танцевать; писать, читать по-русски и уметь считать столько, сколько нужно для домашнего хозяйства. Иногда к этому добавлялись начатки рисования и кое-какие сведения из Закона Божия, французской литературы, географии и европейской истории. Остальное добиралось опытом: у ключницы учились хозяйству, у няньки — воспитанию детей, у деревенской повитухи — домашней медицине. Большинство дворянок вплоть до 1840-1850-х годов продолжало писать по-русски с ужасающими ошибками.

Мнение, что больше познаний и не нужно, разделяли и вполне почтенные личности того времени. В. А. Жуковский писал: "Девочкам нужны только языки, да некоторые таланты. — Знания можно приобрести чтением, когда оно только будет с толком... всего важнее чтение: читать мало, из-бранное, чистое; этого для них довольно; да заставлять думать, это всему основа".



Крайне редко встречались девушки, стремившиеся к более серьезным знаниям. Так, жившая в Уфе в конце XVIII века пятнадцатилетняя Наталья Левашова, по словам ее учителя Г. С. Винского, "через два года понимала столько французский язык, что труднейших авторов, каковы Гельвеций, Мерсье, Руссо, Мабли,

переводила без словаря, писала письма со всей исправностию правописания; историю древнюю и новую, географию и мифологию знала также достаточно". Подобные "грамотницы" на новый лад обрекали себя на печальную участь. "Умная девица — это в провинции преоскорбительное название, — писал современник. — Женщина еще может быть умной, хотя и ее доля незавидна. Все будут говорить, что она умная женщина, хвалить ее ум, но в обществе она всегда будет сидеть одна или среди старух".

Вообще серьезное женское образование, как и попытки женщин выйти за отведенные им обычаями рамки, преодолевали на своем пути множество препятствий. Сколько драм пережили в 1840-х годах женщины, пытавшиеся всерьез заниматься литературным творчеством! Сколько проблем было потом у поборниц женского высшего образования — и не перескажешь!..

Для расширения светски-обязательных познаний нужен был серьезный стимул. И такой стимул появился. Дворянство стремительно разорялось. Нанимать учителей многим семьям становилось не по карману, между тем как представление об обязательности дворянского образования укоренялось все глубже. Спасать положение должны были сами родители и другие родные, которые, как мы уже видели, стали преподавать детям различные предметы. О том, что могло выйти из такого образования, рассказывала Е. А. Сушкова. Тетка, вызвавшись ее учить, сначала, в лучших традициях, "собственноручно написала программу моих уроков; в ней заключались французский и русский языки, история, география, мифология и музыка.

Русский язык, решила она, и без того придет, нечего с ним время терять. Историю лучше всего изучать по трагедиям, это занимательнее; для географии я

оказалась слишком молода, и вот все старание было приложено к изучению мифологии, которую она особенно любила и из которой я всякий день выучивала по две страницы наизусть. Трагедии Расина, Корнеля и Вольтера не очень интересовали меня, и немудрено. Не зная, кто были действующие лица, и не понимая, за что они ссорятся, воют, я иногда просила истолкования у тетки, но сама она получила очень поверхностное воспитание, и вопросы мои приводили ее в смущение, она заминалась и отделивалась этой обычной фразой: "Когда ты будешь побольше, то сама все поймешь, не надо беспокоить вопросами старших, неучтиво; а главное, ты этим показываешь, какая ты непонятливая; напротив, делай вид, что ты все знаешь".

Когда же, думала я, пойму я совершенно, кто были Эсфирь, Эдип, Андромаха, Заира; когда они родились, где жили, далеко ли от России?.."

То, что могло еще кое-как получиться с девочкой, в случае с мальчиком уж точно никуда не годилось, а иному научить подобная наставница и не могла. И тем матерям, которые хотели для детей нормальных знаний (а потом и их дочерям), пришлось самим подтягиваться, чтобы достойно соответствовать новой роли наставницы.



## **Х. Как учиться?**

Методика преподавания большинства школьных предметов, как в XVIII, так и в начале XIX века, заключалась, главным образом, в заучивании предмета наизусть. Даже наиболее просвещенные люди XVIII столетия понимали образование как обладание некоторым количеством разнообразных сведений. О том, что учение должно не только "обогащать память детей", но и развивать их мыслительные способности, сообразительность, приучать их думать и рассуждать, стали догадываться лишь в XIX веке. "Тогда думали, — писал историк Н. Д. Чечулин, — что любое знание, уже тем самым, что оно знание, и ценно, и полезно так же, как всякое другое", и не разбирали, что именно предлагать детям для усвоения. "В соответствии с таким взглядом тогда вовсе не считалось нужным, чтобы учащиеся прошли полный курс, усвоили определенный цикл учебных предметов". Отсюда бессистемность программ и случайность предметов. Образование состояло в усвоении неглубоких или обширных, но лишь разнообразных сведений.

С. Н. Глинка вспоминал слова своего наставника графа Ангальта, который говорил детям: "Укрепляйте сколько возможно вашу память: без нее слабы все другие способности ума. Вот почему древние называли муз богинями памяти. Фридрих II затверживал каждый день по двадцати или по десяти стихов. Подражайте его примеру. Тело требует своей пищи, а ум своей. Огонь гаснет, если под него чего-нибудь не подложат; гаснет душа, если мысль дремлет в праздности. От праздности до порока один шаг".

Преподавание вообще сводилось почти исключительно к заучиванию текста учебника. Каких-

либо толкований, объяснений или дополнений к учебнику наставники не делали, и просить их об этом не позволялось — иначе можно было получить линейкой по рукам. Даже объяснения математических формул и приемов решения задач тоже предлагались прямо для заучивания наизусть. Именно так учился математике И. И. Дмитриев. "От учителя моего, гарнизонного сержанта Копцева, — писал он, — я только и слышал непостижимые для меня слова: искомое, делимое; видел только на аспидной доске цифры и сам ставил цифры же наудачу, без всякого соображения; потом с робостью представлял учителю мою доску; он осыпал меня бранью, стирал мои цифры, ставил свои, и я спешил тщательно списывать их красными чернилами в мою тетрадку".

"Заучивание было плодом всей системы дисциплины, ставившей на первое место уважение к старшим. "Ты ведь лучше него (составителя учебника) не скажешь — ну и учись у него"", — писала современница.

По словам Т. П. Пассек, "метода преподавания того времени была невозможная. Нас заставляли вытверживать наизусть целые страницы из предметов, содержание которых мы едва понимали. Катехизис учили на славянском языке, нам непонятном. Не умея порядочно читать по-французски и по-немецки, должны были вытверживать наизусть целые страницы из французской и немецкой грамматики. Тетради, писанные под диктовку, были испещрены точно гиероглифами, за что изобретательницам этих гиероглифов привязывали на лоб их тетради, но этот способ не помогал знанию проникать в их головы".

Довольно живописное описание урока имеется в воспоминаниях князя П. А. Кропоткина: "Мосьё Пулэн... облачался в халат, надевал на голову кожаную

шапочку, погружался в кресло и говорил: "Скажите урок".

Мы сказывали "наизусть" от одного места, отмеченного нам ногтем, до другого. Мосье Пулэн принес с собою памятную не одному поколению русских мальчиков и девочек грамматику Ноэля и Шапсаля, книжку французских вокабул, всемирную историю в одном томике и всеобщую географию, тоже в одной книжке. Мы должны были вызубрить грамматику, вокабулы, историю и географию. С грамматикой, начинавшейся знаменитой фразой: "Что такое грамматика? — Искусство правильно читать и писать", с грамматикой, говорю, дело обходилось благополучно. Но к несчастью, история начиналась с предисловия, в котором перечислялись все выгоды, проистекающие из знания этой науки. С первыми предложениями дело шло довольно гладко. Мы твердили: "Государь находит в истории примеры великодушия, чтоб следовать им при управлении своим народом; полководец изучает по ней благородное искусство ратного дела..." Но как только дело доходило до юриспруденции, все портилось. "Юрисконсульт находит в истории...", но что именно находит он, мы так и не могли узнать. Трудное слово "юрисконсульт" портило все. Как только мы добирались до него, мы останавливались.

— На колени, gros pouff<sup>[2]</sup> (это ко мне)! — восклицает Пулэн. — На колени, grand dada<sup>[3]</sup> (это по адресу брата)! — И мы становились на колени и обливались слезами, тщетно стараясь выучить, что находит юрисконсульт в истории.

Это предисловие дорого нам обошлось! Мы уже выучили про римлян. Мы бросали "как Брен", палки на чашки весов, когда Ульяна отвешивала рис. Подражая Курцию, мы для спасения отчизны прыгали в бездну со стола; но мосье Пулэн все еще время от времени

возвращал нас к предисловию и ставил на колени все из-за того же юрисконсульта. Нужно ли удивляться после этого, что и я, и мой брат возымели непреодолимое отвращение к юриспруденции!

Не знаю, что стало бы с географией, если бы в книжке мосье Пулэна тоже было предисловие. К счастью, первые двадцать страниц были вырваны. В силу этого наши уроки начались прямо с двадцать первой страницы, со слов: "Из рек, орошающих Францию".



Подготовка уроков заключалась в том, что маленький мученик, заткнув уши и мерно раскачиваясь на стуле, без конца нараспев долбил одну и ту же фразу из учебника, придавая словам свой ритм, что помогало запоминать, к примеру, название уездных городов каждой губернии: Ардатов-Лукоянов, Ардатов-

Лукоянов... Такой способ учения, собственно, и назывался у учеников "долбежкой" и мало чего оставлял в голове. Учились так и дома, и в гимназиях, и в пансионах, и в кадетских корпусах, и в институтах благородных девиц. И везде "долбили".

Академик В. М. Севергин в начале XIX века писал: "Ученики везде почти учат уроки свои наизусть безо всякого понятия о том, что учат, и отвечают на предлагаемые им вопросы нараспев, даже в арифметике и делаемых ими на доске задачах. Учителя и ученики столь привыкли к сему распеву, что и те, и другие мешаются, коль скоро голос или образ вопроса или ответа переменяются".

О том, что об "образовании и изощрении разума, нежели о наполнении памяти учащихся" следует заботиться больше, стали писать уже в конце XVIII века, к примеру, в "Руководстве учителям", вышедшем в 1783 году. Там говорилось, что "лучше", если ученики будут "ответствовать своими словами, нежели теми самими, какие находятся в книге, ибо из того можно видеть, что они дело понимают". Однако эти рекомендации усваивались крайне медленно, и еще долго память продолжали тренировать лучше соображения.

В XIX веке чаще стали использовать наглядный метод: на географии — "путешествовали" по карте, с помощью клубка шерсти на спицах показывали "круговращение земного шара" или учитель-иностранец рассказывал о тех городах, где ему самому довелось побывать; для "естественной истории" привлекали материалы иллюстрированных книг или петербургской Кунсткамеры, собирали гербарии и т. п., но в большинстве случаев продолжала царить "долбежка": читали фрагмент из учебника, дети пересказывали его своими словами (учитель объяснял непонятное), потом учили наизусть слово в слово и ровно через час

отвечали. Так заучивали по две-три-четыре страницы за урок.

В первые десятилетия XIX века в дворянской среде возрос интерес к отечественной истории. Это была эпоха Отечественной войны с ее небывалым патриотическим подъемом; в эти же годы завершился процесс формирования русской нации. Все это пробуждало интерес к русскому прошлому, поэтому журналы публиковали исторические статьи, а в 1818 году вышла в свет "История государства Российского" Н. М. Карамзина — первая книга, которая не только внятно рассказывала об исторических событиях, но и была притом хорошо написана. (До Карамзина интересующиеся историей России штудировали книгу француза Левека.)



После того как был прочитан Карамзин (с небывалым вниманием — говорили, что улицы по вечерам пустели, потому что все сидели дома и читали "Историю государства Российского"), многие дворянские семьи стали включать отечественную историю в число обязательных для изучения предметов.

Граф М. Д. Бутурлин вспоминал, что еще во времена его детства — как раз в это переломное для изучения истории время — "любой мальчик или девочка умели рассказать, что менестрель Блондель освободил английского короля Ричарда Львиное Сердце из полона германского императора; или о том, как несчастный малолетний дофин, сын Людовика XVI, посажен был в тюрьму Тампль и оттуда отдан в учение злому парижскому сапожнику по имени Симон; или как английские малолетние принцы Карл и Яков Стюарты укрылись на дубе от преследовавших их кромвелевских шаек; но о том, что был некогда на Руси мужик Сусанин, положивший свою жизнь для спасения родоначальника царствующего ныне дома, навряд ли один или много — два из пятидесяти детей слышали тогда. Да и о герое Куликовской битвы были у них, пожалуй, темные лишь понятия: разве что читывали в театральных афишах, что в такой-то день дана будет трагедия г. Озерова "Дмитрий Донской". Спешу, однако, оговориться, что я, будучи восьми лет, читал с моей матерью французскую историю России Левека, а позднее, 10 или 11 лет, начал читать Карамзинскую с русским моим учителем".

В николаевское время, когда патриотическому воспитанию стали уделять больше внимания, русскую историю (как и родную словесность) уже изучал каждый ребенок.

Очень характерен для этой эпохи рассказ М. К. Цебриковой: "Когда мне минуло десять лет, отец позвал меня и прочувствованным голосом сказал: "Ты русская, ты должна знать историю твоего отечества. Здесь ты увидишь, как Бог вел Россию и какими путями привел ее к могуществу и славе настоящего времени. Русский народ, избранный Богом, он православный; так древле были избранным народом евреи. Ты увидишь, как из слабого княжества Россия выросла в империю, которая держит в страхе иноплеменников. Бывала пора,



когда народ прогневлал Господа грехами, и Он насылал на него врагов. Народ каялся, и Господь прощал и давал силу победить врагов"... Умиление отца, его проникнутый благоговейным чувством голос запали мне в душу. Я не долбила учебник Устрялова, я воспринимала каждое слово его с жадным восторгом, который поохладел, когда я дошла до междоусобицы удельных князей, и потом снова возгорелся в эпоху изгнания татар, затем — взятия Казани, изгнания поляков и воцарения дома Романовых. А там Петр I, Екатерина II, Александр Благословенный... Моим любимым чтением, и это с восьми лет, была история Карамзина".

Благодаря подобной подготовке уроки истории усиливали и укрепляли в этой семье патриотическое чувство, питали национальную гордость, которая тут же, пусть наивно и по-детски, находила применение.

"Мы гордились, что мы русские; как ни были привязаны к иным товарищам немцам или англичанам, даже признавая личное превосходство А или В над нами, мы были все-таки непоколебимо убеждены, что мы, как русские, выше их и непременно докажем это, когда вырастем. Мы вели патриотические споры с товарищами-иноплеменниками, разрешавшиеся очень часто кулаками.

Умалчивая о непарламентском способе решения... мы передавали старшим парламентские аргументы, досадовали на оплошность и проглядыванье более веских, неизбежные в пылу прений. Нас слушали с интересом старшие, одобряли или указывали промахи, мы смели рассуждать; из подчиненных, обязанных беспрекословно повиноваться, мы превращались в младших соотечественников, имевших общие интересы со старшими; я была уже не только девочка, не дерзавшая рассуждать, но и русская, хотя и маленькая.

<...>

Мы думали о миллионах своих, которые жили до нас, живут в одно время с нами, — и все это свои; эти свои вставали, как один человек, когда надо было защищать свое отечество, свою веру; и, если надо будет, снова встанут, как один человек. Товарищи мои и я, благодаря этому рано пробужденному чувству патриотизма, были спасены от детской пошлости, от ранней житейской мудрости, какими были испорчены до мозга костей столь многие ровесники и ровесницы наши".

При хорошем учителе именно уроки русской истории и словесности становились любимыми. Граф С. Д. Шереметев, учившийся в 1850-х годах, вспоминал о своем учителе Мосягине: "Он так сумел приохотить меня, что я из кожи лез, чтобы заслужить у него хорошую отметку. Особенно приятны были с ним уроки русской истории. Он читал мне историю по Устрялову. Учебник этот, хотя и пространный, Мосягин дополнял подробностями и карандашом отмечал эти дополнения в книге. Урок заключался в следующем: сначала он мне сам читал, а вслед за тем я обязан был повторить все то, что я от него слышал. Это обязывало меня слушать со вниманием. К следующему уроку я должен был ему приготовить письменное изложение им прочитанного, по прочтении коего я вновь повторял ему все заданное... Мосягин отлично читал, в особенности Гоголя. Слушать его было наслаждением... Мосягин давал два урока в неделю русской словесности и один урок русской истории".

Заметим, к слову, что методика преподавания к 1850-м годам коренным образом изменилась и зубрежки, во всяком случае, стало меньше.

Тот же С. Д. Шереметев сообщает некоторые подробности домашнего обучения математике в это время, сразу оговариваясь, что не имел к ней никаких способностей: "Нужно отдать справедливость терпению

Голицынского заниматься со мною; три раза в неделю и столько же дней приготовительных были отданы математике. Корпел я над пресловутою книгой Мейера Гирша, резал сырой картофель для уразумения истин стереометрии, рылся у Коллета и у Веги для отыскания логарифмов; потом снова возвращались мы к задачам на том основании, что "повторение — мать учения", и все-таки еле-еле подвигался я в уразумении великих истин".

Уже в 1830-х годах математике довольно серьезно стали учить и девочек. В более ранний период арифметика для большинства женщин (как для той галаховской бабушки) еще оставалась высшей и самой сложной из наук, а их собственные математические познания сводились к умению считать до ста и совершать два простейших арифметических действия — сложение и вычитание, чтобы суметь проверить счета и сообразить, сколько холста уйдет на одну или две дюжины белья. Теперь это были полноценные математические уроки. Как мы помним, лермонтовская княгиня Литовская очень гордилась тем, что ее дочь, княжна Мери, "читала Байрона по-английски и знает алгебру".

М. К. Цебрикова тоже освоила арифметику уже в восемь лет, а к двенадцати годам познала алгебру и начала геометрии. После этого уроки математики у нее прекратились: чрезмерное увлечение этим предметом, даже при наличии несомненных способностей, все-таки было недостойно благовоспитанной девицы.

Это предубеждение существовало потом еще долгое время, так что тягу к математике известной ученой С. В. Ковалевской в ее семье долго не поощряли.

В среднем ко второй половине XIX века при домашнем обучении математики бывало по два-три двухчасовых урока в неделю, русской словесности —

два урока, русской и мировой истории и географии — по одному уроку в неделю.

## **XI. Главный предмет**

Главными предметами, на которые тратили большую часть учебного времени, были иностранные языки. Наряду с манерами именно знание иностранного языка сразу определяло место дворянина на внутридворянской иерархической лестнице. Мы говорим об "избранном" языке, потому что на практике дворяне могли говорить на разных наречиях, но какие-то из них ценились, а какие-то считались непрестижными. "Путь вверх" открывало лишь одно из них.

В первой половине XVIII века таким языком был немецкий, хотя некоторые дворяне, благодаря хозяйственным связям и участию в войнах, могли говорить и по-английски, по-шведски, по-фински, по-голландски.

Со времен Елизаветы Петровны "королем языков" становится французский. Сама Елизавета, как уже говорилось, владела этим языком свободно и охотно общалась на нем с европейскими дипломатами и своим медиком И. Г. Лестоком. В 1751 году фаворитом Елизаветы сделался блестяще образованный Иван Шувалов — большой поклонник французской литературы, также свободно владевший языком. И с ним императрица тоже стала говорить по-французски. Этого было достаточно, чтобы придворное общество, всегда в таких случаях весьма переимчивое, тоже вскоре "за-французило". А дальше обычным порядком: "дедка за репку, бабка за дедку..." — и скоро все, хоть сколько-нибудь претендовавшие на значение в свете, старались изъясняться исключительно по-французски. Франция вошла в моду, и после Манифеста о вольности дворянства 1762 года первая страна, в которую

устремилось "освобожденное" благородное сословие, была именно Франция.

Мода на французский язык "свалилась" на дворянство достаточно неожиданно. В предшествующем поколении этот язык знали единицы. Учителя, особенно поначалу, найти было трудно, чем и пользовались разные недобросовестные личности. Однажды выяснилось, что популярный в Москве "француз", учивший детей заграничному наречию, на самом деле "чухонец" и выучились от него дети на самом деле финскому, — а что делать, проверить-то было некому.

Так начался французский этап дворянского образования и воспитания, о котором столько было сказано обличительных и негодующих слов.

Действительно, если и Елизавета, и Шувалов, владея французским, одновременно свободно и хорошо говорили по-русски (у Шувалова, который общался со всеми тогдашними писателями и сам сочинял стихи, а значит, был одним из творцов отечественной литературной речи, русский язык был "с красивой обделкой в тонкостях и тонах"), то их подражатели, особенно в следующем поколении, нередко оставляли родной язык в небрежении, не только говорили, но и думали по-французски и потому поневоле усваивали и элементы чужого этического, правового, религиозного сознания, неразрывно связанные с языком. Л. П. Ростопчина, внучка известной "русской католички", поэтессы графини Е. П. Ростопчиной, замечала: "Бабушка моя безукоризненно говорила по-французски... но русскому их не сочли нужным выучить, и вот на этой-то почве полнейшего и постыдного незнания отечественной истории, религии и языка и зиждется причина ее перехода в католичество".



И все же увлечение французским принесло большую пользу. В русском языке пока почти отсутствовала литература; далеко не сформировался востребованный новым временем словарь: не было не только научных, технических, отвлеченных терминов, но и многих

бытовых выражений и слов, относившихся к новой реальности — одежде, досугу, флирту и т. п. Во французском языке все это было. Здесь имелась огромная первоклассная литература.

На французский, как язык международного общения, были переведены все мировые классики, все достойное в науке, вся античная литература и история — в общем все. Французский язык был полностью сформирован, гибок, подвижен, легок и изящен по форме; он изобилует устоявшимися оборотами, поговорками, цитатами, остротами и каламбурами, черпать которые можно было бездумно и без конца (русскому языку еще только предстояло стать таким), и позволял без труда общаться на любые темы. Хорошо известна зависимость между объемом и качеством интеллекта и словарным запасом. По всем этим причинам приобщение русской знати к французскому языку, а через него и к одноименной культуре несло в себе, как впоследствии выяснилось, больше пользы, чем вреда. Галломания вовлекла русское дворянство в мировой культурный процесс и воспитала интеллектуальные потребности, а французский язык стал сильной прививкой русскому языку и словесности, ускорив формирование литературной речи и подготовив мощный творческий взрыв начала XIX века.

Помимо французского, дворянство второй половины XVIII века продолжало осваивать немецкий, английский, иногда итальянский (чаще всего те, кто учился пению); нередко и польский, чему способствовали польские разделы и связанные с ними войны. Все эти наречия ценились тогда неизмеримо ниже французского.

Говоря о распространении французского языка и его главенстве в дворянском воспитании, следует все же указать, что даже на пике "галломании" она была далеко не повсеместной. Чем дальше и "ниже" от столиц и двора, тем чаще можно было встретить дворян



— нередко состоятельных и высокопоставленных, — которые прекрасно жили в условиях двуязычия, думая и общаясь в домашнем кругу на русском и прибегая к "галльскому наречию" лишь в обществе.



Во многих местах на исходе первой четверти XIX века (когда в столицах пик галломании уже миновал) мода на французский еще и не начиналась. Я. П. Полонский свидетельствовал: "В тогдашней Рязани (1820-е годы) я не слышал вокруг себя — ни дома, ни у родных, ни в гостях — ни немецкого, ни французского говора... Конечно, это продолжалось недолго. Воспитанницы Смольного монастыря, возвращаясь в свои рязанские семьи, скоро принесли с собой французский язык".

Встречались, наконец, даже среди очень высокопоставленных лиц, персонажи, вовсе не

говорившие по-французски. Не знал этого языка, к примеру, Г. Р. Державин, причем патриотически настроенные поклонники его таланта полагали, что именно это-то и способствовало его развитию: "Опутанный цветками, подделанными из атласа и тафты, не размахнулся бы никогда наш богатырь!" (И. М. Муравьев-Апостол).

Не владел французским и граф А. А. Закревский, который 11 лет (1848–1859) был военным генерал-губернатором Москвы.

И все же французская немота в высших сословиях встречалась нечасто, ибо весьма стесняла как светское общение, так и карьерные возможности, причем буквально, поскольку слабое знание русского языка высшей аристократией было причиной того, что вплоть до середины 1820-х годов значительная часть русского делопроизводства, особенно те документы, которые исходили или подавались главному начальству департаментов, велась на французском языке. А. Д. Галахов вспоминал: "Своего рода пыткой считали мы то время, когда отец и мать брали нас с собой в такой дом, где дети, нам ровесники, говорили по-французски. Сидишь там, бывало, словно приговоренный к смерти, моля Бога о том, чтобы оставили тебя в покое и, главное, не обращались бы к тебе с вопросом: "Parlez vous français, monsieur?"<sup>[4]</sup> Вопрос этот, подобно грому, оглушал нас. Когда мы робко давали отрицательный ответ, спрашивающий приходил в изумление. "Не говорите! Как же это так?" — восклицал он, качая головой и печально прищелкивая языком, точно заверяя этим, что мы испортили земную нашу карьеру, да и в будущей жизни едва ли не ожидает нас вечная гибель". Впоследствии Галахов, конечно, исправился, выучился по-французски и перестал чувствовать себя изгоем.

И все же во второй половине XIX века французскому языку пришлось потесниться. К этому времени он был общепринят. Ему учили во всех гимназиях, куда поступали дети разного состояния, в том числе и недворяне, в духовных училищах, в коммерческих школах для купечества и т. д. Из языка дворянской элиты французский превратился в язык интеллигенции, и в высших слоях дворянства появился новый фаворит — английский.

На рубеже XIX–XX веков русский высший свет предпочитал подчеркивать свою элитарность именно английским языком и вообще англomанией. На этом языке говорили в семье Николая II (наряду, однако, с русским); ему учили английские бонны и гувернантки, оказавшиеся в эти годы очень востребованными. Проявлением моды на все английское было и увлечение британскими университетами — Оксфордом и Кембриджем, куда стали отправлять сыновей и даже дочерей для завершения образования. Юные аристократы обучались литературе или искусствоведению и возвращались домой с престижными дипломами "магистров искусств".

Однако всеобъемлющим даже в предреволюционные годы английский язык не стал: значение французского сохранялось.

Обучение любому языку в дворянской среде предпочитали начинать как можно раньше и притом наиболее надежным способом — постоянным общением с носителем этого языка.



Как писал один русский журнал 1840-х годов: "У всех вельмож по роду, и по месту, и у всех тех, которые гонятся за вельможеством на золотых колесах, давно уже вошло обыкновение держать при детях от самого их рождения английских нянек; и крошечные дети, когда они еще ничего не умеют выговорить порядочно,

лепечут уже по-английски; но как скоро только в них начинают развиваться понятия, то родители, из боязни испортить французский выговор, отпускают англичанку и приставляют к детям французов".

Если язык бонны хотели сохранить, поступали, как родители графа М. Д. Бутурлина, который вспоминал: "Для английского языка взят был ко мне ровесник мой, Эдуард Корд, и с этой же целью поступила к нам в дом компаньонкой второй моей сестры, Елизаветы Дмитриевны, сестра этого мальчика, Шарлотта".

Полученные естественным путем разговорные навыки закрепляли обучением чтению, а позднее письму на иностранном языке, бесконечными переводами и опробованной на других предметах методикой заучивания наизусть.

Занимались языками несколько раз в неделю (французским почти ежедневно), по два-три часа.



Я. П. Полонский учился по-французски чуть ли не каждый день с девяти до полудня. "Метод учения был самый простой и бесхитростный. Выучили читать и тотчас же стали задавать несколько французских слов для домашнего зазубривания...Ученье по-французски состояло сначала в заучивании слов, потом разговоров в диктовке и писании французских спряжений на заданные глаголы. Никаких объяснений — ни этимологических, ни синтаксических — не было. Все это я сам должен был узнать из практики. Практика же постоянно была одна и та же: диалоги, диктовка и писание спряжений по всем наклонениям и временам. За все это ставились отметки в небольшой тетрадке в осьмушку: Parfaitement bien, très bien, bien, assez bien, mal и très mal<sup>[5]</sup>.

Успехи в освоении языка зависели, конечно, во многом от личности и знаний преподавателя. По словам графа Ф. П. Толстого, "французскому языку поручено было меня учить камердинеру дяди, французу мсье Булонь, как его величали. Читать по-французски и писать с прописей я уже знал довольно хорошо еще дома, а чему меня учил камердинер, я не знаю, хотя при моей любознательности и желании учиться я бы мог что-нибудь запомнить, если бы меня чему-нибудь учили. Он заставлял меня всякий день прочитывать вслух по несколько страниц из какой-то его книжки, в которой я ничего не понимал, и списывать из нее же в тетрадку, не слушая и не обращая никакого внимания, как я читал и произносил слова. А понимал ли я, что читал, об этом он не заботился., да и не мог, потому что он, француз, не мог запятнать себя знанием варварского (русского) языка".

А. Т. Болотов вспоминал, что его память постоянно "подстегивали", ибо "за забывчивость в "вокабулах" (а их полагалось заучить тысячи) учитель постоянно бил его розгами — по три удара за каждое забытое слово.

Более разумные методы преподавания были редкостью. Например, В. П. Желиховская вспоминала, как "оригинально" (для того времени) наставляли ее в английском: "Усадив меня рядом с собою, она (гувернантка) начинала с того, что перекашивала еще больше свои и без того косые глаза, из которых один был карий, а другой зеленый, и, тыкая пальцем в разные предметы, нараспев восклицала: "О! — book... О! — flower... О! — chair... О! — table..." и так далее, пока не перебирала всего, что было в комнате, с трудом заставляя меня повторять вслед за нею. Ее длинная, безобразная фигура и мерные, заунывные восклицания до того меня смешили, что я с трудом могла воздерживаться от смеха... Тем не менее "мисс", как называли ее все в доме, добилась того, что менее чем в

два года мы с сестрой совершенно свободно говорили с ней и между собою на ее родном языке".

Ну и разумеется, во многих семьях чередовали разговорную практику на иностранном языке.

Н. П. Грот вспоминала, что "мать почти всегда говорила с нами по-французски, а в определенные дни заставляла нас говорить и между собою исключительно по-французски и по-немецки, что и делалось нами по возможности, но без строгого педантизма".

Точно так же было и в семье Капнистов: "Нам приказывали всегда говорить месяц по-французски и месяц по-немецки; тому же, кто сказывал хотя одно слово по-русски (для чего нужны были свидетели), надевали на шею на простой веревочке деревянный кружок, называемый, не знаю почему, калькулусом, который от стыда старались мы как-нибудь прятать и с восторгом передавали друг другу. На листе бумаги записывалось аккуратно, кто сколько раз таким образом в день был наказан, в конце месяца все эти наказания считались, а 1-го числа раздавались разные подарки тем, кто меньшее число раз был наказываем. Русский же язык нам позволялся только за ужином, это была большая радость для нас, и можно себе представить, сколько было шуму и как усердно мы пользовались этим приятным для нас позволением".

В результате свободное владение языком во многом зависело от внешних факторов. Хорошо — то есть "как иностранцы" — говорили по-французски и по-английски лишь дети, которые выросли в аристократической среде. У них были действительно квалифицированные наставники, дома родители и их гости хорошо говорили по-французски, а кроме того, они имели возможность отправиться в заграничное путешествие.

Но и тут была масса тонкостей, которые не всегда удавалось учесть.



Бывший гувернер Фридрих Боденштедт, работавший в России в 1840-1850-х годах, вспоминал: "Как для учителей, так и для гувернанток не было лучшей рекомендации в московском обществе, как совершенное незнание ими посторонних живых языков, ибо по общепринятому тогда мнению, француз, владевший несколькими языками, не мог уже преподавать своего родного языка безупречно, а что касалось других языков, то считалось, что на его познания все-таки нельзя вполне полагаться".

Для подобных требований имелись основания. Нередки были случаи, когда выученный язык не отвечал литературным нормам. К примеру, графиня Е. П. Ростопчина учила английский язык у гувернантки своих родственниц Пашковых. Это была настоящая англичанка, но "родившаяся и жившая постоянно в России и потому говорившая по-английски иначе, нежели истые, чистокровные англичане". В итоге Ростопчина научилась изрядно обрусевшему варианту английского произношения. "Однажды Евдокия Петровна с мисс Горсистер (гувернанткой) встретились в одном магазине с какими-то англичанками. Хозяин магазина не понимал англичанок, и Евдокия Петровна вызвалась быть их переводчицей, но какой ужас! — она только отчасти понимала англичанок, а те ни ее, ни мисс Горсистер вовсе не понимали, как будто они обе говорили на каком-то другом, неведомом им языке. Поневоле пришлось объясняться письменно, и тогда лишь дело уладилось".

Поскольку большинство дворян учились кое-как и за границей во всю жизнь свою не бывали, то и язык, который они считали французским, таковым являлся весьма приблизительно. Это был "русский французский", с не вполне правильными выговором, словоупотреблением и построением фраз. И кроме того, очень немногие даже такой язык "знали до конца".

Нередко активный французский ограничивался несколькими десятками расхожих фраз и выражений и приблизительным пониманием смысла прочитанного. Даже хорошо знавшие язык говорили в манере, "отдававшей классной комнатой", преимущественно заученными фразами. В результате и "мышление их, — как писал современник, — приобретало те же приемы приблизительности и неточности".

Писатель и дипломат И. М. Муравьев-Апостол, долго живший во Франции и обладавший абсолютным языковым слухом (сам он владел не то десятью, не то двенадцатью языками) находил ситуацию с устным французским в русском свете (с точки зрения, которая ценилась именно в высшем обществе, то есть чистота и правильность произношения) катастрофической: "Изо ста человек у нас (и это самая умеренная пропорция) один говорит изрядно по-французски, а девяносто девять по-гасконски, не менее того все лепечут каким-то варварским диалектом, который они почитают французским потому только, что у нас это называется "говорить по-французски"...Войди в любое общество: презабавное смешение языков! тут слышишь нормандское, гасконское, русильонское, прованское, женевское наречия; иногда и русское пополам с вышесказанными. — Уши вянут!"

Что же касается провинции, то тут уши порой и вовсе отсыхали. В романе А. Погорельского "Монастырка" есть забавный эпизод, буквально списанный с натуры, когда петербургскому гостю (по фамилии Блистовский) представляют уездных барышень, обученных французскому языку "славным учителем: обучался в Москве, в ниверситете, и сам книги пишет...".

Сперва "раздался шум в передней комнате", потом "он услышал женский голос, кричавший громко:

— Фуа, фуа! Кессе́ — кессе́ — кессе́ — ля!..

Блистовский не знал, что и думать".

Отец девиц тут же с гордостью сообщил: "Ну! не говорил ли я вам, что мои барышни ни на шаг без французского языка? Вот, только что вошли в комнату, а уж и задремали!"

Немного погодя одна из девиц кричит: "Фуа! Фуа! Поди, пожалуйста, сюда!"

— Позвольте узнать, — подхватил Блистовский, — что такое значит Фуа?

— Фуа! — отвечала Софья Климовна, взглянув на него с удивлением. — Фуа, это имя сестрицы.

— Да сестрицу вашу ведь зовут Верою?

— Конечно так, — сказала, улыбнувшись, Софья, — имя ее по-русски Вера, но по-французски зовут ее Фуа!

— У нас в Петербурге Вера, женское имя, и по-французски называется Вера.

— Напрасно! — вскричала Софья с торжествующим видом. — Я могла бы вам показать в лексиконе Татищева, что Вера по-французски Фуа!

— Позвольте же вам сделать еще один вопрос: перед обедом я слышал одно выражение... что значит кессе-кессе-кессе-ля?..

— Ну! Кессе-кессе-кессе-ля значит на французском языке "что такое?".

— А!.. Qu'est — se que c'est, que cela!.. Теперь я понимаю.

Он прекратил тут расспросы свои относительно неизвестного языка и, вслушиваясь внимательно в разговоры барышень, действительно заметил, что они говорят по-французски, но притом так странно выговаривают и такие необыкновенные употребляют слова и выражения, что без большой привычки понять их никак невозможно". Семейство же осталось в уверенности, что Блистовский и вовсе не знает французского языка.

Вспоминая потом об этой эпохе, о своей бабушке княгине А. Н. Волконской, от которой осталось множество французских писем, написанных с ужасающими грамматическими ошибками, князь С. М. Волконский резонно замечал: "И к чему это нужно было? Я понимаю французский язык, но без ошибок, тому, кому по-французски почему-нибудь легче, чем по-русски. Но ведь этого ни в одной стране нет, чтобы люди сходились и друг с другом и дурно объяснялись на иностранном языке".

В его время образованные люди уже не стремились говорить на иностранных языках "как иностранцы". Язык имел главным образом практическое значение — чтобы читать без перевода и уметь объясняться, находясь за границей.

## **XII. Родной язык**

Что касается русского языка, то после овладения первоначальной грамотой ему обычно почти не уделяли внимания, считая, что "само сладится". В аристократической среде русский считали одним из второстепенных, подобным шведскому или польскому, который знать можно, но, по ограниченности применения, необязательно. По сути, на нем можно было общаться только с прислугой, а для этого большого красноречия не требовалось.

А. М. Тургенев свидетельствовал: "Я знал толпу князей Трубецких, Долгоруких, Оболенских, Хованских, Волконских, Мещерских... которые не могли написать на русском языке и двух строк". Многие владели очень ограниченной лексикой, не выходя за пределы узкобытовых тем, использовали простонародные языковые формы (типа "надысь", "ефтот", "надоть" и т. п.) и затруднялись в свободном ведении беседы.

Те, кто воспитывался за границей, нередко возвращались в Россию, начисто не умея говорить по-русски. Князь Д. В. Голицын, бывший около 20 лет генерал-губернатором Москвы, прожил до восемнадцати лет за границей и по-русски сперва почти не говорил. Впоследствии выучился, но изъяснялся по-русски хотя и довольно правильно, но с заметным акцентом, как иностранец.

Князь П. А. Вяземский вспоминал о своем отце, что тот, "как и почти все люди его времени, говорил более по-французски. Жуковский, который введен был в наш дом Карамзиным, говорил мне, что он всегда удивлялся скорости, ловкости и легкости, с которыми в разговоре отец мой переводил на русскую речь мысли и обороты,

которые, видимо, слагались в голове его на французском языке".

Многие из декабристов, при всем их несомненном патриотизме, русского языка совсем или почти не знали. Так, М. П. Бестужев-Рюмин во время следствия, сидя в Петропавловской крепости, вынужден был, отвечая на допросные пункты, часами листать французско-русский лексикон, чтобы правильно перевести свои показания, которые он сочинял по-французски. Почти не говорил по-русски М. С. Лунин. Довольно плохо знали язык братья Муравьевы-Апостолы, воспитывавшиеся во Франции, — из них Матвей Иванович впоследствии, в Сибири, со слуха и благодаря чтению русских книг язык освоил вполне хорошо, а Сергей, за ранней гибелью, не успел, даже стеснялся писать по-русски и т. д.

Почти трагикомичной выглядела ситуация франкоязычия в 1812 году, когда в дневниках и переписке русской знати "на чистейшем французском языке выражалась величайшая ненависть к французам".

Плохому знанию русского языка способствовало и то, что на протяжении всего XVIII и начала XIX века он непрерывно менялся, общепризнанные грамматические нормы были практически неизвестны, а учебники грамматики почти отсутствовали. Еще в конце XVIII века в ходу была грамматика Мелетия Смотрицкого, изданная в 1648 году. О существовании грамматики М. В. Ломоносова, напечатанной в 1757 году, мало кто знал, и лишь созданная на ее основе грамматика издания Академии наук (1794) была более распространена. На школьном же уровне, если уж учились по-русски, штудировали грамматику, составленную французом Модрю, которая у немногочисленных тогдашних русских грамотеев (литераторов и университетских профессоров)

вызывала либо гомерический хохот, либо глухое раздражение.

Многие, вслед за М. А. Дмитриевым, могли сказать: "Русской грамматике меня не учили, да некому было и учить: никто не знал даже правописания".

В общем, учили родной язык в основном копируя прописи и заучивая немногочисленные русские стихи — примерно так же, как иностранные. А о правописании в большинстве случаев и не думали. Даже княгиня Е. Р. Дашкова — президент двух Академий и автор статей в толковом словаре русского языка — подписывала свою фамилию "Дашкава".



Серьезным стимулом к овладению родным языком стал 1812 год. "Патриотическое чувство, пробужденное Отечественной войной в офранцуженном высшем тогдашнем обществе, отозвалось и в нашем семействе. Мать моя сама взялась обучать меня чтению по-русски и основным правилам Закона Божьего, а два года позднее церковной грамоте начал я учиться у нашего священника Федора Васильевича Богослова", — вспоминал М. Д. Бутурлин.

Многие современники Бутурлина поступали также.

Вторым толчком к овладению русским языком стала образовательная политика и личный пример Николая I. Как говорили, на следующий же день после своего воцарения император, выйдя утром к придворным, громко поприветствовал их по-русски, сказав: "Доброе утро, дамы и господа".

Поскольку предшественник его, Александр I, всегда здоровался по-французски, наиболее проницательные из придворных сразу почувствовали, что наступают новые времена. Так и оказалось. С этого времени Николай общался по-французски только с дипломатами и дамами и очень раздражался, если подданный не мог поддержать разговора на русском языке. И писать — письма к сыновьям и деловые бумаги — Николай тоже стал по-русски, благо у него были хорошие учителя и он делал это вполне грамотно. В результате в считанные месяцы французский язык исчез из российского делопроизводства (за исключением дипломатического ведомства), а придворные и столичная знать наперебой принялись зазывать к себе учителей, чтобы учиться по-русски.

А. Д. Галахов оказался одним из таких наставников, востребованных московским "светом". Сперва его пригласили в дом князя П. П. Гагарина. "Молодой князь 14-ти лет, — вспоминал Галахов, — уже отлично владел французским языком, гораздо лучше, чем родным. А



преподавание последнего идет очень туго в то время, когда ему обучаются как иностранному и притом теоретически, без должной практики, так как в семействе князя и в кругу его знакомства почти постоянно слышалась французская речь. Благодаря рекомендации князя скоро нашлись у меня уроки и в других домах, где предстояла мне та же трудность, то есть господство французского языка. Впрочем, моими занятиями оставались довольны и учащиеся, и их родители. Тем и другим нравилось, как они выражались, моя метода, а все достоинство этой методы заключалось в ясности толкований, да разве еще в том, что я, зная французскую грамматику, нередко прибегал к ней для объяснения грамматики русской. Немаловажною вещью считалось и то, что я был дворянского сословия и держал себя на уроках иначе, чем преподаватели из семинаристов, или вовсе не знавшие французского языка, или, при знании, пугавшие своих учеников и учениц прескверным выговором, на который тогда обращали особенное внимание, ценя его выше теоретического знания, как бы оно ни было капитально...

По поводу моей учебной практики в великосветских московских семействах, — продолжал Галахов, — я должен заметить, что запрос на уроки русского языка происходил вовсе не из настоящей в нем потребности, еще менее из любви к родному слову, как бы внезапно почувствованной. Ни то ни другое не могло явиться там, где без родного слова обходились очень удобно, где каждый и каждая гораздо свободнее объяснялись на французском диалекте.

Факт объяснялся взглядами правительства на народное образование и сообразно тому принятыми мерами... Конечно, знание русского языка... не имело еще обязательной силы для лиц женского пола — для дочерей богатых и знатных семейств: они учились

русской грамоте, следуя моде, по чисто формальному склонению в ту сторону, в которую — хотя нехотя — направлялись их братья".



В конце 1820-х годов подспели два первых в России подробных и систематических грамматических руководства, написанные Н. И. Гречем: "Практическая русская грамматика" (1827) и "Краткая русская грамматика" (1828) — и стали использоваться как учебники, ну а дальнейшее сделала литература. Желание читать Пушкина, Лермонтова и Гоголя скоро заставило даже иностранцев учиться русскому языку.

### **XIII. "Ловкость во всех телесных упражнениях" и "приятные искусства"**

Как вспоминал Б. Н. Чичерин: "В нашем воспитании не была забыта и физическая сторона. Отец настаивал на том, чтобы мы приобрели ловкость во всех телесных упражнениях. Нас рано посадили на лошадь, и мы в деревне ежедневно делали по десяти, по пятнадцати верст верхом. Тенкат (гувернер) выучил меня порядочно плавать, что для меня всегда было большим удовольствием. Фехтованию мы стали учиться уже в Москве... Танцклассы начались с двенадцатилетнего возраста, и это был единственный урок, который, особенно на первых порах, был для меня истинным мучением... Отец знал, что всякие пригодные в общежитии ловкость и умение, приобретенные человеком, составляют для него преимущество".

Предметам, которые помогали ребенку стать светским человеком, истинным представителем своего сословия, уделялось особое внимание.



Самым подходящим возрастом для начала обучения танцам считались пять-шесть лет. Занятия проводились от двух до четырех раз в неделю, по несколько часов, как индивидуально, так и в группе. Детей учили почти так же серьезно, как и профессиональных балетных танцовщиков: они осваивали балетные позиции, па (шаги) и антраша (прыжки), заучивали довольно сложные фигуры бальных и характерных танцев. Особенно трудны в танцах "первая позиция", при которой пятки ног соединены, а носки так сильно развернуты в стороны, что ступни образуют совершенно прямую линию, и также "пятая позиция", когда ноги скрещены и ступни приставлены одна к другой, так что носок одной ноги соприкасается с пяткой другой.

Освоить эти мудреные позиции, не теряя при этом равновесия, стоило немалого труда, и танцмейстеры ставили учеников в деревянные станки, состоявшие, как вспоминала В. Н. Фигнер, "из доски с выдолбленными на ней подошвами для ног и двух вертикальных стержней, за которые надо было держаться руками. Не держась за эти палки, невозможно было устоять на ногах". В некоторых случаях на учеников надевали специальные конструкции для колен и спины, сделанные из деревянных досок на винтах. Некоторые чрезмерно усердные танцмейстеры так закручивали винты для выпрямления ног или поясницы, что ребенка зажимало, как в тисках.

Для многих детей, особенно мальчиков, танцевальная повинность была тяжелой обузой.

Б. Н. Чичерин вспоминал, каким наказанием для него — уже подростка — были эти уроки. Он мучительно стеснялся своего танцевального костюма, "девчачьих" башмачков с бантиками, необходимости принимать на людях танцевальные позы и прыгать. "Я хотел быть серьезным молодым человеком, по целым дням углублялся в книги, а меня наряжали в курточку и башмачки и заставляли плясать. Этого я никак не мог переварить... Одевание к танцам становилось трагическим событием, каждый шаг которого требовал насилия над собою".

Выучился Чичерин так себе (хотя позже счел, что постоянное переламывание себя на танцевальных уроках пошло на пользу его характеру) и впоследствии от этого несколько страдал. "Со временем, вращаясь в большом московском свете, я увидел, что мои родители были совершенно правы, настаивая на том, чтобы мы учились этому весьма естественному в собраниях молодежи упражнению, и даже сожалел о том, что под влиянием ребяческих предубеждений никогда не хотел выучиться ему порядком".

Не ладилось с танцами и у С. Д. Шереметева. "Наказанием для меня были всегда уроки танцевания, — писал он. — Мой учитель танцев был мсье Огюст Пуаро. Эти уроки потому были особенно скучны, что я был один. Меня заставляли делать всякие *pas de bourrée*, *pas grave*, *assemblées syssolles*, *sauts de basques*, учили *gavotte* и *menuet* и не выучили порядочно ни вальсу, ни мазурке. Учитель был постоянно мною недоволен и ставил дурные отметки".

На уроках танцев осваивали весь классический и модный танцевальный репертуар. Плясать учили и "венгерку", и "болеро", и "качучу", и "по-тирольски", и "по-цыгански", и "а-ля грек", и разными другими "манерами", поскольку помимо модных парных танцев в программу балов (особенно по случаю домашних праздников) обязательно входили сольные выступления и небольшие балеты, исполнявшиеся малыми и большими детьми (это называлось "танцевальный сюрприз"), В их числе были и знаменитый *pas de châte* (танец с шалью), в котором, как помните, блистала на выпускном балу Катерина Ивановна у Достоевского, и *pas de couronne* (танец с венком), и всевозможные тарантеллы, "персидские пляски" и пр.

Очень популярны были и русские пляски. Уже во второй половине XVIII века ставили слегка облагороженные балетные танцы в русском стиле, обязательно, чуть не каждый вечер, исполнявшиеся императорскими артистами в театральных "дивертисментах" — маленьких сборных концертах, которыми в те времена по традиции завершался всякий спектакль. "По-русски" зачастую плясали здесь и модные французские танцовщики. Подобным "русским пляскам", сохранявшим все традиционные движения, но немного "драматизированным" танцмейстером, учили и дворянских детей, и многие родители, в том числе весьма знатные, охотно демонстрировали таланты

своих чад. Так, в Москве на рубеже XVIII-XIX века очень славилась своим умением плясать по-русски юная графиня Анна Алексеевна Орлова. Многие современники вспоминали, как во время балов ее отец граф А. Г. Орлов приказывал музыкантам играть русскую песню "Я по цветикам ходила", а графиня Анна принимала заслуженное восхищение своим танцевальным искусством. Здесь же обычно находился и ее танцевальный учитель Балашов, постановщик танца, и тоже получал комплименты.

В провинции же, особенно в кругу низового дворянства, главное место на всяком балу занимали русские пляски, которым нередко обучались прямо у крестьян.

Э. И. Стогов вспоминал о свадьбе своих родственников в подмосковной Рузе в начале XIX века: "Сначала пропели поздравительную песню, поминали имена дяди и тетки; потом плясовую. Дедушка с бабушкой не танцевали, а пошли парами молодые русскую. Дядя отлично танцевал, все хвалили. Тетка, разодетая, стройная, с веселыми глазами, тоже удостоилась общей похвалы. Дядя танцевал и трепака, и казака, а как пошел вприсядку — только мелькал, некоторые из гостей даже вскрикивали от восторга. Молодые открыли бал, помню, все танцы кончались поцелуями. Долго сменялись пары, кажется, все переплясали".

Подобным же образом — и наблюдением за крестьянками, и уроками у танцмейстера — могла выучить русскую пляску и толстовская Наташа Ростова. Во времена, когда писался роман Толстого, по-русски из дворян, конечно, уже мало кто плясал, а вот во времена действия книги это было вещью совершенно обыкновенной.

Танцам учили в основном актеры балета — нынешние и отставные. В 1800-х годах среди них были

такие тогдашние знаменитости, как Дидло (упоминаемый Пушкиным), Колосова, Новицкая; в 1830-1840-х — Мунаретти, Гюллень-Сор и т. д. О конце века княгиня Л. В. Васильчикова вспоминала: "С детства мои современники и поколения старше моего брали уроки у старика Троицкого. Мы выстраивались в ряд в одном конце зала, а он сидел на другом против нас и, закинув ногу на ногу, поглаживая бакенбарды и хлопая в ладоши, если мы ошиблись, командовал нами, как солдатами. Горе неуклюжим — тогда Троицкий передразнивал нас и унижал нас публично".

В задачи танцмейстера входило научить не только танцевать, но и свободно держаться в обществе, легко и непринужденно двигаться. Поэтому много внимания уделялось поклонам и реверансам, выработке красивой осанки, положению рук и ног, даже особого, "приличного в обществе" выражения лица. Вот как описывалось оно в учебнике танцев начала XIX века: "Глаза, служащие зеркалом души нашей, должны быть скромно открыты, означая приятную веселость. Рот не должен быть открыт, что показывает характер сатирический или дурной нрав, а губы расположены с приятною улыбкою, не выказывая зубов".

На занятиях у танцмейстера учились садиться, ходить, пересекать зал, надевать и снимать шляпу и перчатки, входить в карету, обмахиваться веером, почтительно брать и подавать разные предметы и т. п. Во всем этом имелись тонкости: например, хороший тон не позволял ни при ходьбе, ни при разговоре размахивать руками, а главным признаком изящной походки считалось, если у идущего не видно подошв.

Танцмейстеры же довольно часто устраивали и так называемые детские балы. Их затевали специально для подростков 13-16 лет, которые уже умели сносно танцевать, но в свет по малолетству пока не выезжали. Детские балы, или детские праздники, как их еще



называли, организовывали либо в знатных семьях по случаю именин кого-то из детей, либо известными танцмейстерами в своих школах в общие праздничные дни — на Рождество, на Масленицу и т. п.

Кроме подростков, которых на детских балах было большинство, туда приезжали и взрослые, и у детей появлялась возможность попрактиковаться в танцах и бальном общении с "настоящими" партнерами. Если бал давал танцмейстер, он приглашал на детский праздник всех своих бывших учеников. Детские балы начинались и заканчивались раньше обычных съездов, и это давало возможность взрослым прямо оттуда поехать в театр, а затем на большой бал.

В числе московских танцмейстеров самым, вероятно, известным, почти легендой, был Петр Андреевич Йогель, который приехал из Франции и стал учить московских детей танцам в 1800 году, а перестал, когда ему уже было хорошо за восемьдесят, — в начале 1850-х годов. Это был признанный мастер своего дела, через руки которого прошло полгорода. Кроме частных уроков, он учил танцам воспитанников Университетского благородного пансиона, в числе которых были В. А. Жуковский, А. С. Грибоедов, М. Ю. Лермонтов. К концу жизни Йогеля на его детских балах правнучки встречались со своими прабабушками, так как и те, и другие были ученицами мэтра. Естественно, что, когда Лев Толстой писал "Войну и мир", он не мог обойти фигуру Йогеля своим вниманием и дал ему в ученицы свою Наташу Ростову.

Холостяки, подумывающие жениться, были частыми гостями на детских балах: здесь в комфортной обстановке можно было увидеть будущих светских звезд — бальных дебютанток ближайших лет — и кого-нибудь заранее присмотреть. Так поступил, как известно, и Пушкин, который заметил Наташу

Гончарову (как и он сам, учившуюся у Йогеля) еще до появления ее в большом московском свете.



В свою очередь, и юные "дамы" использовали детские балы для репетиции взрослых отношений. Мемуаристка Е. А. Нарышкина, выросшая в деревне и потому не слишком светская, вспоминала (1850-е годы): "Изредка нас водили на детские балы... Девочки, которых мы встречали, представляли для меня особый новый тип. Они были элегантны и нарядны, как

настоящие маленькие дамы, и умели говорить светским жаргоном о светских вещах.

В этом отношении я сознавала их безусловное превосходство надо мною; их апломб, миленькие манеры, легкий флирт с пажам, рассказы и смешки были для меня недостижимы, и вместе с тем я чувствовала, что никогда не заговорила бы при них о том, что наполняло мою голову и мое сердце, так что моя роль с ними была довольно пассивная".

Если танцам дворянских детей начали учить еще во времена Петра I, то мода на уроки музыки пришла позднее. Во всяком случае, С. А. Тучков замечал: "Мне никогда не случалось слышать от стариков, чтоб кто-либо из благородных людей в царствование Петра I, Екатерины I и даже Анны занимался музыкой: кажется, что сделалось сие обыкновение со времен Петра III, потому что он сам любил играть на скрипке и знал музыку, и то, может быть, из подражания Фридриху II, которого он до безрассудности почитал".

Во второй половине XVIII века музыка стала одним из тех "приятных искусств", которые разнообразят досуг светского человека, и ее включили в число обязательных для изучения предметов.



Девочек учили играть на фортепьяно или арфе, мальчиков — тоже на фортепьяно, скрипке или флейте. Число и продолжительность музыкальных уроков могли варьироваться — от двух уроков в неделю у мальчиков, которым музыка считалась менее нужной, до ежедневных занятий у девочек, для которых игра на музыкальном инструменте была не только способом последующего "ублажения" супруга, но и средством привлечения к себе светского внимания. Поэтому, как часто вспоминали, уроки музыки лет с семи становились сперва "крестом, несомым из покорности, затем — пыткой, которой подчинялись во имя дисциплины".

Большинство девочек музыкой занимались ежедневно по три-четыре часа: часовой урок до обеда, послеобеденное разучивание заданного и после чая час на игру соло или в четыре руки с сестрой.

В игре более всего ценились техника, быстрота, умение бойко разыгрывать пьесы и безошибочно заучивать эти пьесы наизусть, "для чего один пассаж приходилось долбить по получасу". Наличие способностей и даже музыкального слуха полагали не главным ("ведь не вы, а вас должны слушать"). Ну, и благодаря чрезмерной "музыкальной повинности" играть выучивали абсолютно всех. В то время вообще считалось, что нет такого искусства, которому нельзя было бы выучить. Разве что с пением не всегда получалось: слушать безголосое пение мало кто соглашался.



Музыкальным наставником мог быть и собственный дворовый музыкант, и европейская знаменитость — А. Гензельт, Дж. Фильд и др., у которых училось немало талантливых отпрысков столичной знати.

М. И. Глинку, как позднее П. И. Чайковского, поначалу учили музыке их гувернантки.

М. И. Глинка вспоминал: "Хотя музыке, т. е. игре на фортепиано и чтению нот нас учили механически,

однако же я быстро в ней успевал. Варвара Федоровна (гувернантка) была хитра на выдумки. Как только мы с сестрой начали кое-как разбирать ноты и попадать на клавиши, то сейчас она приказала приладить доску к фортепиано над клавишами так, что играть было можно, но нельзя было видеть рук и клавишей, и я с самого начала привык играть, не смотря на пальцы".

Е. А. Сушкову музыке учила тетка — и здесь результаты меньше впечатляли. "Сначала она выучила меня, как называются клавиши. Потом кое-как растолковала ноты, не говоря, что есть четверти, восьмые, белые, не объясняя, что такое пауза, дискант, бас, тон, и все показывала с рук и кое-как толковала, что "ре" на средней октаве пишется так, на нижней так, — кончалось всегда любимой фразой: "Все это само собою придет, разбирай только побольше, так и привыкнешь читать ноты, как книгу". Не имея ни малейшего понятия о теории музыки, никогда я не видала и не трудилась над гаммами, а прямо засадили меня за пьесы Штейнбелта и Фильда... На беду мою, я пристрастилась к музыке, по четыре часа в день занималась ею, но должна признаться, что никогда и никто не узнавал, что я барабаню, слышалось что-то такое знакомое, но из рук вон безобразное".



Рисованию из всех "приятных искусств" уделяли наименьшее внимание, разве уж ребенок настолько увлекался, что выпрашивал дополнительные уроки. Обычно хватало одного-двух лет по одному занятию в неделю, чтобы ребенок выучился владеть карандашом и акварельной кистью и освоил навыки копирования с "оригиналов" — то есть образцовых литографий или рисунков, выполненных профессиональными художниками, — и основы композиции. Если требовалось более серьезное обучение, как это было с М. И. Глинкой, страстно хотевшим в детстве научиться рисовать, то ребенка усаживали за "рисование с глаз, носов, ушей и пр., требуя безотчетного механического подражания".

В некоторых дворянских семьях уже во второй половине XVIII века стали обучать детей и ремеслам. У



истоков этой традиции стоял император Петр, который, как известно, освоил за свою жизнь чуть не тридцать ремесел, включая умение удалять зубы. Особенно любил Петр работу на токарном станке, занимавшую руки и разгружавшую голову, и много способствовал повышению престижа этого занятия. Кое-кто из сподвижников Петра подражали ему, и собственные токарни, можно сказать, вошли в моду, тем более что подобными "чистыми" ремеслами увлекались и некоторые другие европейские государи, например несчастный, кончивший свои дни на гильотине Людовик XVI, который любил возиться со всякой механикой, собирал и чинил замки, часы и т. п. Екатерина Великая умела резать камни и на досуге с успехом копировала античные камеи; императрица Мария Федоровна, супруга императора Павла I, подобно Петру, любила точить на токарном станке вещицы из дерева и кости и часто дарила супругу собственные изделия (он и умер, цепляясь за точеные балясинки, украшавшие подаренный ей письменный стол).

Потому и русские дворяне учили своих детей "царскому" токарному искусству (как мы помним, за токарным станком любил отдыхать и старый князь Болконский в "Войне и мире"), часовому и переплетному мастерству. В конце XVIII века эта мода получила дополнительную подпитку: насмотревшись на мытарства изгнанных революцией из своей страны французских аристократов, наиболее дальновидные русские родители озаботились научить детей делать руками хоть что-то полезное, чтобы в случае чего не помереть с голоду.

Помимо этих занятий детей могли приучать и к садоводству, считавшемуся вполне благородным занятием (еще римские императоры самолично выращивали капусту). Поэтому среди прочих летних забав юного дворянина частенько ждал "собственный

садик", в котором он — конечно, с помощью садовника — сам копал грядки, рыхлил землю, выпалывал сорняки, выращивал цветы и овощи и т. д. Так делали и в императорской семье.



Наконец, во второй половине XIX века, специально чтобы привить детям уважение к крестьянскому труду, их учили несложным деревенским работам — косить, жать хлеб и ухаживать за скотом. Так поступали в семье великого князя Константина Николаевича (известного поэта "К. Р."), у Льва Толстого (еще до его известного "опрощения") и т. д.

В целом можно сказать, что дворянское образование заметно совершенствовалось. Число преподаваемых предметов сокращалось: отсекалось случайное, прибавлялось нужное. Языки переставали быть средством покрасоваться и становились орудием

познания; гуманитарные предметы наполнялись жизненной конкретикой, нахватанность перерастала в эрудицию — все это служило формированию действительно рафинированной личности, аристократии не только по крови, но и по духу.

## **XIV. Что читать?**

Никакое воспитание и образование невозможны без обширного и систематического чтения; оно формирует мышление человека, его мировоззрение, способствует развитию самосознания. Долгое время влияние чтения на русское дворянское воспитание тормозилось двумя обстоятельствами: отсутствием привычки и отсутствием самих книг. Вплоть до второй половины XVIII века, а в провинции — даже и до XIX, в редком доме можно было найти какую-нибудь книгу, и то преимущественно духовного содержания — Псалтырь или Святцы, либо уж лечебник Енгальчева или какой-нибудь календарь, как у онегинского дядюшки:

И календарь осьмого года:  
Старик, имея много дел,  
В иные книги не глядел.

Большинство дворян вообще ничего не читало; иные думали, что слишком прилежное чтение книг, в том числе и Библии, способно свести человека с ума. Даже в аристократических семьях вплоть до времен Елизаветы Петровны почти не было домашних библиотек.



Постепенно, однако, дело сдвинулось с мертвой точки. Уже А. Т. Болотов довольно много читал — все, что попадалось под руку. Особенно запомнились ему "Похождения Телемака" в русском переводе. "Я получил чрез нее понятие о мифологии, о древних войнах и обыкновениях, о Троянской войне... — вспоминал он. — Словом, книга сия служила первым камнем, положенным в фундаменте моей будущей учености, и куда жаль, что у нас в России было еще так мало русских книг, что в домах нигде не было не только библиотек, но ни малейших собраний".

По скудости книжных собраний дети долго хватались буквально за все, до чего могли дотянуться, и все это были книги для взрослых: классика на том языке, на котором разговаривали в семье, немногочисленные еще переводы на русский язык, сочинения отечественных авторов.

О том, что именно попадало в руки к детям (а первые прочитанные книги лучше всего запоминаются), сохранилось множество разных свидетельств.

Е. Р. Дашкова, девушка серьезная, предпочитала исторические и философские труды и в тринадцать лет прочитала на французском языке работы Бейля, Монтескье, Вольтера, Буало, трактат Гельвеция "Об уме" и т. п. — словом, почти все просветительские сочинения.

Поэт И. И. Дмитриев, прошедший детство в провинции, когда ему еще не было и десяти лет, пристрастился к иностранным романам. В круг его чтения входили "Шутливые повести" Скаррона, "Похождения Робинзона Крузо", "Жиль Блаз" и роман аббата Прево "Приключения маркиза Г.". Начиная с последней книги. Поскольку она была на французском, Дмитриев читал со словарем и в процессе чтения основательно подтянул свой язык. Вскоре, лет в десять, Дмитриев свел знакомство и с русской литературой — прежде всего поэзией А. П. Сумарокова, книги которого имелись в доме, потому что с Сумароковым была лично знакома мать Дмитриева. Позднее отец читал вслух домашним стихи Ломоносова из его первого собрания сочинений — "Иова", "Вечернее размышление о величестве Божиим" и "Оду на взятие Хотина", которые произвели на будущего поэта глубокое впечатление. Вообще же Дмитриев читал много и бессистемно — от "Велисария" Мармонтеля до указов Екатерины Второй и Петра Великого, включая поучения Иоанна Златоуста и "Всемирную историю" Барония.

Я. П. Полонский, воспитывавшийся в начале XIX века, тоже в провинции (родители его французского языка не знали и в семье говорили по-русски), вспоминал: "Когда мне перевалило за семь лет, я уже умел читать и писать и читал все, что попадалось мне под руку. А попадались мне под руку всё старые, иногда

очень старые книги, в кожаных переплетах — с высохшими клопами между страниц: издания времен Екатерины — комедии Плавильщикова, и особенно памятная "Русалка" — волшебное представление с превращениями и куплетами. Вот, если не ошибаюсь, начало одного куплета:

Мужчины на свете  
Как мухи к нам льнут,  
Имея в предмете,  
Чтоб нас обмануть.

Иногда попадались и новые, по тому времени, издания, вроде "Достопамятной России" (с картинками), и тогдашнее "Живописное обозрение". Первые прочитанные мною стихи уже побуждали меня подражать им. Чаще всего в тогдашних изданиях попадались стихи Карамзина и князя Долгорукова.

На стихи память у меня была отличная, восьми-девяти лет я знал уже наизусть лучшие басни Крылова, все сказки Дмитриева, монологи из комедий Княжнина и кое-что из трагедий Озерова. Читал я стихи вслух, и кому же? Моей няньке и всей безграмотной дворне, которая, как мне тогда казалось, слушала меня с большим удовольствием, даже ахала от удовольствия!"

А. П. Бутенев читал "Душеньку" Богдановича, стихи Сумарокова, Ломоносова и Карамзина, переведенные с французского первый том "Истории России" Левека и роман Фенелона "Телемах".

Д. Н. Свербеев лет в девять-одиннадцать освоил все, что нашел в небольшой библиотеке своего отца: русских поэтов XVIII века, исторические сочинения, "Письма русского путешественника" Карамзина и издававшийся им же "Московский журнал", "И мои безделки" И. И. Дмитриева, модные в 1810–1820 годах

мистические сочинения Иакова Бема, Иоанна Массона, Эккартсгаузена, книгу Юнга Штиллинга, известную в русском переводе, как "Угроз Световостоков" и "Сионский сборник" А. Ф. Лабзина.

Такая же бессистемность чтения продолжалась и много позже. Уж если ребенком овладевала страсть к чтению, он готов был схватиться за любой текст в переплете, лишь бы эту страсть удовлетворить. "От нечего делать, — писала Е. А. Сушкова, — я принялась читать без выбора, без сознания. Вольтер, Руссо, Шатобриан, Вольтер прошли через мои руки. Верно, я очень любила процесс чтения, потому что, не понимая философских умствований, с жадностью читала от доски до доски всякую попавшуюся мне книгу. Мольера я больше всех понимала, но не умела оценить его; когда же я отыскала "Поля и Виргинию", роман Бернардена де Сен-Пьера, да и "Женитьбу Фигаро", комедию Бомарше, я плакала над смертью Виргинии, а во всех знакомых мальчиках искала сходства с Керубином (паж графа Альмавивы). Чтение этих двух книг объяснило мне, что есть и веселые книги, и я перевернула библиотеку вверх дном и дорылась до романов г-жи Жанлис и г-жи Радклифф. С каким замиранием сердца я изучала теорию о привидениях; иногда мне казалось, что я их вижу, — они наводили на меня страх, но какой-то приятный страх".

Долгое время в отношении ребенка с книгой ни родители, ни гувернеры почти не вмешивались, разве что находили, что чтение мешает дитяти заниматься уроками, и тогда запирали книги на замок (из-под которого юные книгоманы все равно находили способы их добывать). Лишь ко второй трети XIX века родители пришли к выводу, что взрослым следует контролировать детское чтение и что прежде, чем позволить ребенку взять книгу, ее следует непременно прочесть самим. Особенно много ограничений



возникало в подростковом возрасте, когда запрещалась вся хоть сколько-нибудь сомнительная в отношении нравственности литература, главным образом французские романы.

"Воспитательницы стали прилагать неусыпное рвение к сохранению нашего неведения и наивности, — вспоминала современница. — На чтение французских книг была наложена строжайшая цензура: заклеивали странички в самых невинных романах, вроде "Черного тюльпана" Дюма-отца. Зато английская и немецкая литература считалась безусловно нравственной, поэтому девочкам не запрещали ни Байрона с его богоборчеством и игривыми анекдотами "Дон-Жуана", ни Шекспира с его "грубыми нравами" и "непристойностями", которых, впрочем, барышни чаще всего не понимали или игнорировали... Говорились они большей частью в пьяные минуты шутами, солдатами, а мы питали самое эстетическое презрение к таким художественным созданиям и интересовались только героями". Из немецкой литературы был запрещен роман И. Гете "Страдания юного Вертера".

Надо сказать, что многие из взрослых, воспитывавшихся в свое время на недетской литературе, этой системы запретов не понимали. Так, И. И. Дмитриев писал: "Чтение романов не имело вредного влияния на мою нравственность. Смею даже сказать, что они были для меня антидотом противу всего низкого и порочного. "Похождения Клевеланда", "Приключения маркиза Г." возвышали душу мою. Я всегда пленялся добрыми примерами и охотно желал им следовать". М. К. Цебрикова находила, что даже непонятные детям книги не приносили "ничего, кроме пользы. Непонятное будило жажду понять; плохо понятое понималось через несколько времени верно; дети учились поправлять свои ошибки". К тому же "дети

вообще понимают гораздо более, нежели то воображают воспитатели".

Во многих семьях из русской литературы неудобным для подросткового чтения долгое время считали Пушкина. Я. П. Полонский свидетельствовал: "Пушкин в те далекие годы считался поэтом не вполне приличным. Молодежи в руки не давали стихов его. Но запрещенный плод казался дороже, как бы оправдывая стихи самого Пушкина:

Запретный плод нам подавай,  
А без того нам рай не в рай.

По рукам гимназистов ходило немало рукописных поэм Пушкина. Так, не в печати, а в рукописных тетрадках впервые удалось мне прочесть и "Графа Нулина", и "Евгения Онегина"

По рассказу князя С. М. Волконского, его дед, декабрист С. Г. Волконский, "когда его сыну, пятнадцатилетнему мальчику, захотелось прочитать "Евгения Онегина", отметил сбоку карандашом все стихи, которые считал подлежащими цензурному исключению; можете себе представить, как это было удобоисполнимо — при легкости пушкинского стиха перескакивать строчку". О подобной же практике — заклеивания или замазывания чернилами пушкинских строк — вспоминали и другие современники. Полностью "реабилитировали" "Евгения Онегина" лишь во второй половине XIX века.

Собственно, детская литература родилась во второй половине XVIII столетия, в ту пору, когда моралисты и педагоги все громче заговорили о детстве — не только как о времени жизни, но и особой стадии формирования человека. С этих пор постепенно приходит понимание того, что ребенок — это не неполноценный взрослый

(более слабый физически и умственно, не сформировавшийся телесно и неспособный к воспроизводству), а именно ребенок, со своим уровнем мировосприятия, способностями, зачатками характера и пр., что детям трудно читать "большие" книги и для них нужно писать специально, так, чтобы было и недлинно, и занимательно, да еще и написано простым языком, без длинных ученых слов, — и появились книги, предназначенные именно для детского понимания.

Авторами первых таких книг стали по преимуществу педагоги — германские, а потом и английские. Самым первым был немец Иоахим Генрих Кампе (1746–1818). В начале 1770-х годов он выпустил книжечку под названием "Детская библиотека". Это был сборник песенок и рассказов, басен и сценок, предназначенных для чтения как совсем маленьких, так и уже подросших детей.

Успех у читателей был так велик, что Кампе вскоре выпустил вторую книжку, вслед за ней третью, и так далее, так что немного погодя "Детская библиотека" действительно превратилась в целую библиотечку, состоящую из двух десятков толстеньких томов. Там были не только рассказы, стихи и нравоучительные беседы, но и подробные описания многочисленных путешествий, прославляющих силу человеческого духа и разумного Божественного предопределения.

Почти сразу, в 1776 году, появился и русский перевод Кампе под названием "Нового рода игрушка, или Забавные и нравоучительные сказки, для употребления самых маленьких детей". С этой книги и началась в России детская литература.

Вскоре целая библиотека детского чтения — переводы будущей детской классики: "Дон-Кихота", "Робинзона Крузо" и др. и журнал "Детское чтение для сердца и разума" (1785–1789 — была создана Н. И. Новиковым. ""Детское чтение" было едва ли не

лучшею книгою из всех, изданных для детей в России, — вспоминал впоследствии М. А. Дмитриев. — Я помню, с каким наслаждением его читали даже и взрослые дети. Оно выходило пять лет особыми тетрадками при "Московских ведомостях".

В последующие годы в русских переводах выходили и многие другие сочинения Кампе и его подражателей, в том числе француза Арнольда Беркена (1747–1791). Самый знаменитый сборник их произведений назывался "Золотое зеркало для детей, содержащее в себе сто небольших повестей для образования разума и сердца в юности". Книга эта пользовалась в России очень большой популярностью и часто переиздавалась. Для многих детей конца XVIII и начала XIX века именно "Золотое зеркало" (уже неоднократно упоминавшееся выше) стало первой самостоятельно прочитанной книгой.

После первых переводных детских книг пришла пора сочинениям собственных русских авторов.

Одним из первых детских поэтов стал Александр Семенович Шишков (1754–1841). Выдающийся государственный и общественный деятель, адмирал, министр просвещения и президент Российской академии, Шишков был и даровитым поэтом. Правда, опубликовать свои стихи для детей отдельной книжкой он постеснялся и "спрятал" их на страницах очередного перевода "Детской библиотеки" Кампе, скромно написав в предисловии: "Книга сия есть отчасти перевод, отчасти же подражание сочинениям господина Кампе".

Скоро выяснилось, что стеснялся Шишков напрасно. Именно его стихи в первую очередь заметили читатели, благодаря им его книга приобрела большую известность и была в каждой образованной семье. И, начиная читать, дети очень быстро запоминали стихи Александра Семеновича, например, такие:

У нас всё утехы,  
У малых детей.  
Игрушки, и смехи,  
И много затей.

Я. П. Полонский вспоминал: "Первые стихи, которые я затвердил с восторгом и наслаждением и потом долго забыть не мог, были стишки А. С. Шишкова:

Хоть весною и тепленько,  
А зимою холодненько,  
Но и в стуже  
Нам не хуже,  
В зимний холод  
Всякий молод".

Из сборника "Золотое зеркало", 1787 год:

"Кто привыкнет лгать, тот не токмо бывает всеми честными людьми презрен и оставлен, но и нередко впадает в несчастье.

Мартын, лживый мальчик, несколько раз из жалости тешился тем, что обманывал своих соседей, подымая на улице вдруг жалостный крик, как будто с ним случилась великая беда. Когда же соседи выбегали к нему на помощь, то он смеялся тому, что их обманывает.

Как однажды играл он опять на улице, то вдруг набежала на него бешеная собака. Мартын, не могши ни бежать, ни обороняться от нее, начал изо всей мочи кричать: помогите! Помогите! Соседи это услышали, но, думая, что он опять хочет их обмануть, не вышли к нему на помощь. И так бешеная собака напала на него и загрызла до смерти.

Хозяин того дому, подле которого произошло сие несчастное приключение, велел вырезать оное на камне

с такой надписью: "награда лжи", дабы каждый прохожий того ужасался, а особенно всякий лжец сим напоминанием мог быть исправлен".

Довольно скоро, уже к началу XIX века, детскую литературу стали издавать в разных странах, а лучшей считалась английская. "В нашем семействе, — вспоминал граф М. Д. Бутурлин, — в употреблении был английский язык. Мать моя объясняла мне много позднее, что причиной выбора этого языка, на котором ни она, ни наш отец не говорили, было то, что в то время не было лучших книг для детского возраста, как английские. Даже французских было мало, и они были не настолько удовлетворительны, как английские, а о русских нечего и говорить. Правда, была у нас "Детская библиотека", из которой помню стихотворение, начинавшееся:

Хоть весною и тепленько,  
А зимою холодненько...

И еще какая-то другая книжка с рассказами о прилежных детях, но эти книжки не имели ничего привлекательного для нас. "Детская библиотека" была без всяких гравюр, а рассказы, хотя и с гравюрами, но лубочной работы, и вдобавок оба эти издания напечатаны на синей бумаге вроде нынешней оберточной. Английские же книжки, напротив, были изящно изданы и с раскрашенными картинками, и иные служили заменой игрушек. Так, например, было описание приключений одного мальчика в отдельно вырезанных при тексте картинках, представлявших костюмы всех случаев его жизни, и для всех этих костюмов служила одна и та же головка, которая вставлялась во все туловища. Сначала мальчик был из нищих, потом постепенно переходил в школьника,

ремесленника, лакея богатого дома, купеческого приказчика и, наконец, превращался в богато одетого молодого человека. Выписывалось для нас из Англии по целому ящику подобных книжек и поучительных игрушек, и мы ждали с нетерпением их прибытия".

В XIX столетии разговор о литературе, о книжных новинках стал обязательной темой светского общения не только в столицах, но и в провинции. Теперь все достойные книги старательно прочитывались светскими дамами и молодыми людьми и затем приличным образом обсуждались. Мужчины более зрелые, за недосугом, не всегда успевали следить за литературой, но и они старались "соответствовать". Так, император Александр I, дороживший репутацией любезного светского человека, пользовался пересказами своей супруги, императрицы Елизаветы Алексеевны. Во время совместных обедов она рассказывала ему о достойных новинках, сообщала собственное мнение, и Александр бывал во всеоружии для поддержания непринужденной беседы.

Персонажи, мало или бездумно читающие, нередко становились всеобщим посмешищем. Московская красавица княжна Урусова, безупречная во всем, кроме интеллекта, прославилась однажды тем, что на вопрос бального кавалера: "А что вы сейчас читаете?" — пролепетала: "Розовенькую книжечку. А сестра моя — голубенькую".

Можно сказать, что к середине XIX века вполне сформировались и традиции, и круг детского чтения. Помимо собственно детских книг для разного возраста, в нем остались русская и мировая классика, книги о путешествиях, о животных, исторические сочинения.

Б. Н. Чичерин вспоминал, что первое его приобщение к литературе произошло в четыре года, когда отец, собирая вокруг стола по вечерам всех домашних, читал им вслух басни Крылова, а также

другие стихи — Языкова, Карамзина, Дмитриева, отрывки из "Бориса Годунова" Пушкина и др.

У гувернантки "был порядочный запас исторических и литературных книг, которые она заставляла меня читать вслух или давала мне читать про себя, т. к. я оказывал к этому большую охоту. В эти годы (около 10-ти) я впервые познакомился с произведениями Корнеля, Расина и Мольера, которые возбудили во мне, с одной стороны, любовь к героям, а с другой — чувство комизма. В то же время я прочел всю древнюю историю Роллена и приходил в восторг от великих мужей древности... Помню также, что я прочел какую-то историю Соединенных Штатов. Меня очень занимала их борьба с Англией, которая напоминала мне войны греков с персами. Я восторгался высоконравственным образом Вашингтона, которого портрет висел у отца в кабинете. С жадностью прочел я также историю освобождения Греции и воодушевлялся подвигами Боциариса, Канариса и других героев греческой независимости. Кроме того, из открывшейся тогда в Тамбове публичной библиотеки мадам Манзони (гувернантка) взяла для нас собрание путешествий Кампе, и я прочел чуть ли не все пятьдесят томов этого сборника. Я очень увлекался описанием путешествий, переносился воображением в великолепные страны юга, представлял себе разнообразных животных растения, которыми они изобиловали, и мне самому хотелось испытать приключения мореплавателей. Разумеется, не забыт был и "Робинзон Крузо", а за ним и "Швейцарский Робинзон" (Кампе), которые были для нас источником истинных наслаждений. Гувернантка достала мне также небесную карту и вместе со мною отыскивала созвездия, которые я изучал с большим интересом.

В то же время было и русское чтение. Кроме Крылова, нам с ранних лет давали сочинения



Жуковского в стихах и в прозе. Я их читал и перечитывал, был очарован прелестью его стиха и многое твердил на память... С восторгом твердил я патриотические песни двенадцатого года: "Певец во стане русских воинов" и "Певец в Кремле". Сердце мое билось за отчизну, и я с гордостью ставил русских героев наравне с греками и римлянами. Затем мне дали Карамзина, и я с увлечением прочел все 12 томов". Чуть позднее Чичерин с увлечением прочитал "Историю крестовых походов" Мишо, а освоив английский язык — Шекспира, Байрона, Диккенса и Вальтера Скотта. Пушкина и Батюшкова выдал из своей библиотеки сам отец (Чичерин в это время был уже подросток), Державина получил от учителя словесности. "Из второстепенных писателей были у нас в руках стихотворения Бенедиктова и повести Марлинского, которые тогда были в большом ходу, а в позднейшее время истинное наслаждение доставляли мне "Миргород" и "Мертвые души". Последние я нашел в комнате матери вскоре после их появления и с упоением прочел от доски до доски. С Лермонтовым прежде, чем нам дали его сочинения, я познакомился из "Отечественных записок", которые получались у нас в доме и которые я читал весьма внимательно".

Еще через полвека Т. А. Аксакова-Сивере вспоминала, что "книг в нашем распоряжении было много, и детских, в красных, тисненых золотом переплетах, и более серьезных, из отцовской библиотеки, которые нам выдавались под условием бережного с ними обращения". В круг детского чтения вошли и Некрасов с его "Дедом Мазаем" и "Генералом Топтыгиным", и "Жизнь животных" Брема, и книги Жюль Верна, Фенимора Купера, Майна Рида, и ранее запретный для подростков Александр Дюма, — но все это читали уже не только маленькие дворяне, но и

всякий грамотный ребенок из сколько-нибудь культурной семьи.

## **XV. Где учиться?**

На протяжении XVIII и XIX веков в России постоянно росло число государственных (казенных) учебных заведений с бесплатным обучением: кадетских корпусов, институтов благородных девиц, уездных училищ и гимназий и т. п.

Кадетские корпуса (а также очень престижный Пажеский корпус) давали полное среднее и специальное военное образование. Институты благородных девиц славились превосходной воспитательной системой. Репутация этих заведений была очень хорошей, и учиться в них хотели многие, но мест в них далеко не хватало на всех желающих.

Гимназий в XVIII веке было весьма мало. В 1804 году, по указу Александра I, их начали создавать во всех губернских городах, а для поступления в них следовало пройти курс уездного училища. Программа гимназии в те годы предусматривала Закон Божий, логику, российскую словесность, математику, физику, историю, географию, статистику, естественную историю, латинский, немецкий и французский языки, рисование и "танцевание" — все предметы из обязательного списка. Однако как училища, так и гимназии были заведениями всеобщими, то есть в них учились дети чиновников и людей "всякого сословия", да и обстановка в них была самая убогая. М. П. Погодин, учившийся в 1810-х годах в Московской губернской гимназии, так описывал ее: "Голые, чуть-чуть замазанные стены, досчатые полы, которых часто не видать было из-под грязи, кое-как сколоченные лавки, животрепещущие столы... Пища — жидкие щи с куском говядины, которая с трудом уступала ножу, и гречневая каша с маслом, ближайшим к салу. Надзора никакого, ни одного надзирателя не

было у нас, и должность их исполняли ученики из старших двух классов".

Очень мало кто из представителей "хорошего" дворянства решался отдавать сюда детей, а те, что отдавали, должны были готовиться к тому, что чадо принесет потом домой совсем не подходящие благородному отроку манеры и словечки.

А. Д. Галахову пришлось в 1810–1820 годах пройти через такую школу. Он писал: "На одних лавках с немногими дворянскими детьми сидели дети мещан, солдат, почтальонов, дворовых. Дворянство обыкновенно избегало школ с таким смешанным составом, боясь за нравственность своих детей, которых потому и держало при себе под надзором наемных учителей, гувернеров и гувернанток или помещало в пансионы, содержимые иностранцами. Но мои родители, как люди среднего состояния, не имели возможности прибегнуть ни к первому, ни ко второму способу образования. Им нужно было учение бесплатное, какими и были тогда уездное училище и гимназия. Сословное различие моих товарищей обнаруживалось и в одежде, и в прическе... Наконец, возраст был заметно неровный: наряду с девятилетними, десятилетними мальчиками сидели здоровые и рослые ребята лет шестнадцати и семнадцати — сыновья лакеев, кучеров, сапожников. Все это пестрое общество, говоря правду, не могло похвалиться приличным держанием (т. е. поведением). До прихода учителя в классе стоял стон стоном от шума, возни и драк. Слова, не допускаемые в печати, так и сыпались со всех сторон. Нередко младший класс гуртом бился на кулачки со старшим. Бой происходил на площадке, разделявшей классы, и оканчивался, разумеется, побоем первоклассников. Однажды, я помню, какой-то бойкий школьник второго класса вызвался один поколотить всех учеников первого. Но он

потерпел сильное поражение: толпа одолела самохвала, наградив его синяками под глаза. Трудно представить себе положение мое и братнино среди подобных сцен. Добропорядочно выдержанные дома, неопытные ни в борьбе, ни в кулачном бою, мы были изумлены, ошеломлены происходившим пред нами... Остановить шалунов и забияк было некому: ни при училище, ни при гимназии не имелось надзирателей".

В 1828 году гимназии сделали сословными заведениями, в них перестали принимать кого бы то ни было, кроме детей дворян и чиновников, ввели институт надзирателей и значительно улучшили условия содержания, — однако репутация гимназий долго еще оставалась неважной, и вплоть до 1860-х годов особого наплыва в них благородного сословия не наблюдалось.

Несколько более приемлемыми были частные пансионы, появившиеся в России с 1740-х годов, в основном в столицах и в Прибалтике. После Жалованной грамоты дворянству и губернской реформы 1760-х годов в провинции стали селиться дворяне из того круга, в котором образование уже считалось необходимым, и это способствовало увеличению числа пансионов (они открылись в Тамбове, Екатеринославе и т. д.). В 1781 году в Петербурге действовали уже 26 пансионов и в них обучались 820 учеников, из коих русских было 370, а остальные — дети иностранцев. Учителей в них работало 80 человек, из которых 40 преподавали танцы и рисование; в национальном отношении 50 учителей были немцы, 20 французы и 10 русские. В Москве в 1786 году имелось 18 пансионов.



Учились в пансионах как мальчики, так и девочки; встречались смешанные заведения, где уроки давались детям обоего пола (жили они на разных половинах).

Девушек учили французскому и немецкому языкам, "нравоучению", истории, географии, музыке, танцам, рисованию, по желанию родителей — арифметике, а также "домосодержанию и что к тому принадлежит", "шитью и мытью кружев", "шить и вязать", "показывая при том благородные поступки, пристойные к их (девиц) природе" и "прочему, что потребно к воспитанию честных женщин". Ни русский язык, ни Закон Божий в программу пансионеров не входили.

Почти все мемуаристы XVIII века за годы учебы побывали хотя бы в одном пансионе, а нередко — в двух-трех. И почти у всех остались в памяти лишь частые и суровые наказания, "долбежка", холод плохо протопленных помещений и скудная кормежка.

А. М. Загряжский вспоминал об одном из пансионеров только то, что жена содержателя, француженка, "любила есть лягушек и часто для себя готовила; хотела, чтоб и я ел; однажды уговорила. Я отведал — очень не понравились".

А о нравах другого заведения Загряжский приводит такой случай, достаточно характерный: "Вступил к нам в пансион англичанин лет двадцати; довольно видный мужчина, меня очень полюбил... (тут требуется пояснение: англичанин поступил не в преподаватели, а в ученики; рассказчику же в то время было лет десять. — В. Б.). Я во время класса нарисовал карикатуру. Он очень над ней смеялся, и, подавая друг другу, от хохоту и разговоров сделалось довольно шумно. Учитель, по обыкновению, кричал: "Silence, M-rs" [6], — увидя рисунок, потребовал. Англичанин тотчас положил в карман. Учитель, рассердясь и хотя показать власть свою, ударил его линейкой, а он кулаком ударил, и учитель, как сноп, свалился. Англичанин пошел вон, на другой день оставил пансион. Я очень жалел, что лишил себя приятеля, а учителя дохода".

"Да чему же мы там учились? — задавался вопросом Ф. Ф. Вигель, также прошедший в детстве через пансион. — Бог знает, помнится, всему, только элементарно. Эти иностранные пансионы, коих тогда в Москве считалось до двадцати, были хуже, чем народные школы, от которых отличались только тем, что в них преподавались иностранные языки. Учителя ходили из сих школ давать нам уроки, которые всегда спешили они кончить; один только немецкий учитель, некто Гильфердинг, был похож на что-нибудь. Он один только брал на себя труд рассуждать с нами и толковать нам правила грамматики; другие же рассеянно выслушивали заданное и вытверженное учениками, которые все забывали тотчас после классов. Мы были настоящее училище попугаев. Догадливые родители недолго оставляли тут детей".

Помимо частой смены учащихся, из которых мало кто оставался в таких пансионах на годы, сами пансионы были весьма недолговечны и, продержавшись от двух до шести лет, обычно закрывались навсегда, так что пройти в них полный курс наук, кажется, никому не удавалось.

Попадались, конечно, среди пансионов и очень хорошие, такие, как Университетский благородный пансион в Москве и заведения, содержавшиеся отцами-иезуитами в Петербурге. Последние одно время даже были в большой моде среди петербургской аристократии (хотя учившийся в лучшем из этих заведений — у аббата Николя декабрист С. Г. Волконский уверял: "Преподаваемая нам учебная система была весьма поверхностна и вовсе не энциклопедическая"). Но в целом тон в этом деле долго задавали совсем другие заведения. В николаевское время уровень пансионского образования несколько повысился, а сами они сделались долговечнее. Теперь среди содержателей пансионов чаще встречались уже



не иностранцы, а русские, а программа была приближена к гимназическому курсу, что давало возможность использовать и учебники, предназначенные для гимназий.

Весьма подробно об одном таком заведении — в Казани — рассказывал писатель Н. П. Вагнер. Пансион принадлежал директору Второй казанской гимназии М. Н. Львову и считался в провинции образцовым.

Вагнер вспоминал дом в большом саду с беседкой-навесом, служившей для игр и летних вечерних занятий; тесноватые комнаты — переднюю, за ней залу и узкий кабинет Львова. В зале обедали и семья хозяина, и пансионеры. Из залы длинный коридор вел в спальни и — в самом конце — в единственную общую классную комнату. Здесь за большим столом помещались все пансионеры, делившиеся на две группы — пятеро старших, от пятнадцати до двадцати лет, и трое младших, двенадцати — четырнадцати лет. Одно время вместе со всеми учились две дочери хозяина, от них "сходили с ума" некоторые ученики (в особенности от старшей, Александры Михайловны). Затем это сочли "неудобным", и девушки перестали посещать занятия.

В пансионе изучали географию, риторику по руководству Кошанского, русскую словесность по учебнику Греча, историю по учебнику Кайданова. Двое старших учеников учили физику по учебнику Ленца. Все эти предметы преподавал сам хозяин. "Михаил Николаевич являлся, таким образом, энциклопедистом, знатоком всех предметов среднего образования, не исключая математики. И этого мало: он точно так же занимался в классе рисования, и должно заметить, что рисовал весьма недурно". Правда, химию учитель знал плохо и все время путался: говорил, к примеру, что пар, который отделяется от воды, есть водород. Ученики, разумеется, верили.

Языкам — французскому, немецкому, греческому и латыни (уже включенным в гимназическую программу) учили приглашенные наставники, причем французский и немецкий — носители языка.

Львов, как вспоминал Вагнер, "по самому характеру своему, довольно легкому, увлекающемуся, не был способен к солидному, основательному преподаванию каких бы то ни было наук, а на этом человеке держалась вся сущность и вся тяжесть пансионского образования. Не имея солидных знаний, он притом не мог регулярно, систематически заниматься преподаванием предметов. Этому мешала его должность директора гимназии и многие другие его частные занятия". Поэтому по утрам уроки часто отменялись.

В промежутке между уроками сидели в гостиной, где присутствовала и хозяйка с дочерьми, занимаясь рукодельем. В гостиной нельзя было шуметь и двигаться; говорили полупшепотом. В сад выпускали побегать только летом. Вообще обстановка была домашняя, только очень уж скучная и однообразная. Комнатных надзирателей не было; старшие жили как хотели, за младшими присматривала жена Львова. За провинность надевали бумажный колпак и тоже приказывали сидеть в гостиной. За большую провинность секли или исключали из пансиона.

Вечерами в классной или спальнях старшие устраивали пиры, на которые младшие не допускались. Те болтали друг с другом или бездельничали; иногда резались в карты. Один из учеников учился играть на скрипке (к нему приезжал учитель-немец) и в свободное время музицировал. "Эта музыка наводила убийственную тоску чуть ли не на весь пансион. Вероятно, она была из строго классических; это были, вероятно, какие-то скучные этюды, которые не могли

развить ни в ком из нас любви ни к гармонии, ни к красоте музыкального мира".

"Учение... составляло какой-то пришлый, посторонний элемент. Оно не составляло нашей душевной потребности. Ни один предмет не был нашим любимым". Любознательность питали, рассматривая картинки в энциклопедии "Всемирная галерея" и читая журналы "Библиотека для чтения" и "Сын Отечества", которые получали для гимназии (сначала их прочитывали в доме Львовых), а также немногочисленные имевшиеся в доме книги, в их числе два тома известного сборника "Сто русских литераторов". Чтение было единственной отрадой Вагнера и его соучеников. Самое интересное нередко читали вслух, причем особенно нравилось все романтическое и героическое ("Храмовники" Каменского, "Осада Углича" Массальского и другие подобные повести и романы).

"Вспоминая теперь всю жизнь этого старинного и странного педагогического заведения, мне кажется, что главным существенным недостатком в нем было полное отсутствие педагогики. Никто в нем и никогда не заботился о педагогических целях. Весь пансион существовал формально, по традиции, и потому, что Михаилу Николаевичу Львову было выгодно его содержать...Все было педагогически формально и совершенно безжизненно", — резюмировал Вагнер.

В эти же годы программы и устройство хороших женских пансионов мало чем отличались от женских институтов. Т. П. Пассек училась как раз в таком пансионе м-м Данкварт в Москве и вспоминала потом большой трехэтажный дом с флигелями и садом, холодную, почти казенную атмосферу, чопорных классных дам, звонки, созывавшие в классы, к обеду и ужину; ежегодные парадно обставленные экзамены с выставкой ученических работ (рукоделие и

чистописание), изрядно выправленных учителем; награды за успехи, состоящие из скучнейших морализаторских книг, но с вытесненной на обложке золотой надписью, к примеру: "За прилежание, успехи и благонравие"; многочисленные фортепьяно, расставленные по всем углам, за которыми воспитанницы поочередно твердили "экзерсии", — все это было точно таким же, как и в тогдашних институтах. И точно так же здесь наказывали, надевая за разговор на русском языке девочкам дурацкий колпак из парусины с красной суконной кисточкой, "не принимая в расчет, что мы не знали ни одного языка, кроме русского. Таким образом, мы обрекались на безусловное молчание. Увенчанная зорко сторожила, не проговорится ли которая-нибудь и, уловивши русское слово, торопливо передавала шапку".

## **XVI. Гувернеры и гувернантки**

В те годы русская общественная школа оставляла желать лучшего, поэтому дворянских детей обучали в основном дома. Это обуславливало чрезвычайную значимость в воспитательном процессе гувернеров обоего пола.

Первые гувернеры появились в России еще в эпоху Петра I. Известна некая мадемуазель Делонуа, учившая его дочерей и сопровождавшая их на всех балах и праздниках.

После указа 1737 года императрицы Анны об образовании дворянских детей начался настоящий наплыв иностранцев в гувернеры, который не прекращался до самого конца царствования Александра I. Среди гувернеров было много немцев, англичан, итальянцев, но уже в 1750-х годах наиболее востребованы оказались французы, а также франкоговорящие швейцарцы — настолько, что русские дворяне стали буквально гоняться за всяким приезжим французом, хоть сколько-нибудь пригодным на роль учителя. А годился на эту роль, по тогдашним понятиям, почти всякий, если только он не ходил в лохмотьях, не вытирал ладонью рот и не был глухонемым, поскольку в этом случае он мог говорить по-французски и уже имел какие-никакие европейские манеры. Большого же от воспитания тогда не требовали.

Изрядное число поваров, мыловаров, портных и модисток, прибыв в Россию в поисках счастья, убеждались, что гораздо легче и лучше устроятся на сытное и непыльное место домашнего наставника, и пополняли собой армию гувернеров и учителей всех

наук. За неимением француза провинциальные родители соглашались и на другого иностранца.



Некто Простасьев вспоминал, что в 1785 году, когда ему было двенадцать лет, отец пожелал учить его немецкому языку. Отправляя обоз с хлебом в Москву, он поручил старосте нанять учителя-немца, не дороже, чем за 150 рублей в год. Староста привез немца,

согласившегося служить за 140 рублей. Тот оказался плохим учителем, но хорошим переплетчиком и великим мастером клеить из бумаги коробочки.

Через год этого учителя заменили другим, за 180 рублей. Он кое-чему все-таки учил, но лучше умел делать сыры и играть на флейте. Еще через два года появился третий учитель — отставной квартирмейстер прусской службы — за 225 рублей в год; человек грубый и жестокий. Он сильно бил ученика, пока пятнадцатилетний уже Протасьев однажды не отлупил его в ответ. После этого учителя отпустили; на том ученье и кончилось.

Англичанин Джонс, побывавший в Москве в середине 1820-х годов, замечал, что некоторые английские гувернантки, которых он встретил в России, вероятно, были на родине кухарками или прислугой: "Их разговор выдает бедность их познаний, отсутствие способностей и плохое воспитание"; они писали с грамматическими ошибками.

"Достать вам иностранца, посадить его в кибитку и отправить мне нетрудно, — писал поэт К. Н. Батюшков к сестре в деревню, — но какая польза от этого? За тысячу (в год) будет пирожник, за две — отставной капрал, за три — школьный учитель из провинции, за пять, за шесть — аббат".

С. В. Капнист-Скалой рассказывала, как для упражнения во французском к ним в дом была взята старушка француженка, с которой ее поместили в одной комнате. "Сначала француженкой были довольны... Но впоследствии оказалось, что она любила выпить и что штофик с водочкой стоял всегда под ее кроватью. А чтобы не слышно было запаха водки, она всегда, к большому моему удивлению, ела со вкусом, во всякое время, печеный лук, при запахе которого я и теперь невольно вспоминаю мою бывшую гувернантку.

Разумеется, что мать моя, узнав об этом ее достоинстве, немедленно отправила ее.

Такая же неудача была и с французом, которого было взяли для братьев моих и должны были очень скоро удалить".

Обилие сомнительных персонажей, подвизающихся в России на ниве детского воспитания, угнетало и само французское правительство. Секретарь одного из посольств замечал: "На нас обрушилась туча французов разнообразнейших мастей, большая часть которых, имев неприятности с французской полицией, отправилась в полуночные страны, чтобы погубить также и их. Мы были поражены и огорчены, обнаружив во многих домах знатных персон — дезертиров, банкротов, развратников и множество дам того же сорта, которым, в силу пристрастия по отношению к этой нации, было препоручено воспитание юношей из весьма видных семей... Г-н посол полагает, что следовало бы предложить Русскому министерству исследовать поведение этих лиц и выдворить морем по назначению наиболее подозрительных".

Но при острой нехватке педагогических кадров решить эту проблему столь радикально не удавалось. К тому же при всей неподготовленности этих горе-педагогов они не только были востребованы, но и самым парадоксальным образом действительно в какой-то мере воспитывали — не только недорослей, но и их родителей. А. М. Тургенев свидетельствовал: "Как современник-очевидец считаю обязанностью сказать, что с водворением французов в семействах дворянских состояние крепостных господских людей улучшилось; с рабами начали обращаться лучше, снисходительнее, видеть в них человек... Возлияние Бахусу весьма уменьшилось. Беседы дворянские начали оканчиваться без "игры в коммерческую", т. е. поединка на кулаках" и т. д.



К тому же, конечно, гувернеры были разные, и наряду с людьми действительно случайными, занесенными в Россию и в наставничество превратностями судьбы, а иногда и трениями с законом, среди иностранных преподавателей встречались — и нередко — высокообразованные, даже ученые, и притом высоконравственные люди, прекрасно знающие педагогическое дело. Не будь их, не пришлось бы говорить о "золотом веке" русской дворянской культуры, о той блестящей аристократии, о которой французский посол граф Сегюр писал, что по своему образованию и культуре она ни в чем не уступает наиболее просвещенным людям Западной Европы.

Среди гувернанток, работавших в России, была отменно образованная баронесса Прайзер (в доме Е. Р. Дашковой), которая одних только языков знала в совершенстве восемь, не считая высоких нравственных достоинств. В начале XIX века в России несколько лет работала Клер Клермонт, сводная сестра известной английской писательницы Мэри Шелли — умная, тонкая и хорошо образованная особа, оставившая интересные яркие письма (правда, не столь высоконравственная — у нее была внебрачная дочь от Байрона; обстоятельство, в то время вовсе не похвальное; впрочем, в России об этом никто не знал).

Самой безупречной образованностью и превосходными моральными качествами отличались в конце XVIII века гувернеры графа П. А. Строганова — Жильбер Ромм, барона А. Н. Строганова — Жак Демишель, графа А. К. Разумовского — Пьер-Игнас Жама, воспитательница детей княгини Шаховской — Элизабет-Аделаида Матис и многие другие наставники. Но для того чтобы обзавестись подобным гувернером, родителям следовало обладать значительным состоянием. Услуги того же Жама обходились примерно в 500 рублей золотом в год, а Жильбер Ромм получал и

того больше — около 1200 рублей, что по меркам XVIII века было деньгами совершенно колоссальными.

К тому же состав воспитателей был непостоянным и в зависимости от обстоятельств мог заметно меняться.

После Великой французской революции в Россию устремилось множество образованных и нередко титулованных эмигрантов. Их оказалось так много, что даже провинциальный помещик средней руки, желающий, чтобы у детей был настоящий французский "прононс" и блестящие манеры, мог "выписать" за небольшие деньги хоть маркиза. Такой маркиз де Мельвиль жил, к примеру, в 1790-х годах в Пензенской губернии у помещика Жиздринского, скромного владельца 300 душ.

Новая волна французских наставников прихлынула после Отечественной войны 1812 года, когда в России осело изрядное число пленных солдат и офицеров Великой армии Наполеона. Многие из них попали в армию по мобилизации и потому владели вполне мирными специальностями; иные были неплохо образованны и в общем для обучения языкам и манерам, что обычно требовалось от иностранного гувернера, вполне годились.

Имея возможность выбирать из наставников наилучшего, русская аристократия стала в эти годы отдавать предпочтение французским аббатам, которые, помимо хорошего происхождения (манеры! манеры!), все до единого считались людьми высокоучеными. "Если француз аббат, то он с ним (учеником) читает и толкует французский катехизис и, сверх всего, занимается еще выписками из писем г-жи Севинье и из Вольтерова "Века Людовика XIV", — упражнение для русского чрезвычайно полезное, ибо оно знакомит его с изящнейшими умами и любезнейшими людьми века, прославившего Францию", — язвительно замечал граф Ф. П. Толстой.

"В большинстве семейств высшего общества обеих столиц, — свидетельствовал М. Д. Бутурлин, — наставниками детей были французские аббаты... Почти не принято было в обществе звать их по фамилиям, а только по фамилии тех, у которых они проживали, например: "аббат Дивовых", "аббат Разумовских"".

Надо заметить, однако, что именно поколение французских эмигрантов, при всем своем блеске и "учености", изрядно подпортило реноме своей нации — может быть, больше, чем все "побродяжки" дореволюционных лет.

Яркий тип такого наставника-эмигранта представлен в записках Ф. Ф. Вигеля: "Шевалье де-Роллен-де-Бельвиль... не слишком молодой, умный и весьма осторожный, сей повеса старался со всеми быть любезен и умел всем нравиться... Обхождение его со мною с самой первой минуты меня пленило... Он начал давать мне дружеские советы и одну только неловкость мою исправлять тонкими насмешками; я чувствовал себя совсем на свободе. Во время наших прогулок он часто забавлял меня остроумною болтовней; об отечестве своем говорил, как все французы, без чувства, но с хвастовством, и с состраданием, более чем с презрением, о нашем варварстве. Мало-помалу приучил он меня видеть во Франции прекраснейшую из земель, вечно озаренную блеском солнца и ума, а в ее жителях избранный народ, над всеми другими поставленный.... При слове "религия" он с улыбкой потуплял глаза, не позволяя себе, однако же, ничего против нее говорить; как средством, видно, по мнению его, пренебрегать ею было нельзя. Он познакомил меня с именами (не с сочинениями) Расина, Мольера и Буало, о которых я, к стыду моему, дотоле не слыхивал, и возбудил во мне желание их прочесть.

Посреди сих разговоров вдруг начал он заводить со мною нескромные речи и рассказывать самые

непристойные, даже отвратительные анекдоты..."

В итоге общения с этим очаровательным шевалье Филипп Вигель и втянулся в тот противоестественный порок, которым был впоследствии столь известен. И не он один: шевалье де-Ролен развратил и сыновей князя Голицына, в доме которого гувернерствовал.

Видимо, в результате подобных уроков, лишний раз подтвердивших пословицу, что не все то золото, что блестит, большинство родителей следующего поколения чаще старались найти в наставники для детей не столько ученых, сколько добрых людей с хорошей нравственностью. Не случайно А. О. Смирнова-Россет называла свою гувернантку, "добрую Амалию Ивановну", "идеалом иностранок, которые приезжали тогда в Россию и за весьма дешевую цену передавали иногда скудные познания, но вознаграждали недостаток знаний примером истинных скромных добродетелей, любви и преданности детям и дому".

Уже в 1820-х годах к личности гувернеров и гувернанток предъявляли совершенно определенные, довольно жесткие требования. Гувернера предпочитали брать немолодого и женатого; совершенно идеален был вариант, когда на службу удавалось нанять сразу мужа и жену — его к мальчикам, ее — к девочкам. Молодой и одинокий гувернер должен быть некрасив или, по меньшей мере, невзрачен. Очень пожилые гувернеры вообще шли вне конкуренции. К этому должны были прилагаться степенность и благородные манеры, корректный костюм, спокойная уверенность поведения и непременно хорошие рекомендации.

Среди гувернанток более всего ценились особы немолодые, а из молодых — некрасивые и даже уродливые (довольно часто гувернантками были горбуны). Это (как и в случае с мужчинами), по мнению родителей, гарантировало серьезность, отсутствие матримониальных намерений и обеспечивало

супружеский лад в доме (связь мужа с гувернанткой — ситуация, типичная не только для романа Льва Толстого "Анна Каренина": из-за подобной связи распался, в частности, брак родителей Лермонтова). Особенно высоко котиrowались гувернантки-вдовы со взрослыми детьми (живущими, естественно, самостоятельно). Одеваться гувернантка должна была консервативно и без претензий на кокетство, причесываться просто и строго; держать себя сдержанно и в то же время изысканно, но без особой претензии на светскость. Отступление от этих правил плохо сказывалось на карьере. Так, Л. А. Ростопчина вспоминала, как ее гувернантка, молодая девушка, хотя и была "доброй и благочестивой", лишилась у них места из-за своей страсти к нарядам. Весной "бедная Луиза провинилась окончательно: она осмелилась надеть розовое платье с полосками и длинной талией, как у осы! Эта парижская новость представилась бабушке опасной, как покушение на целомудрие и опасный пример для девочек. Она призвала своего сына, приказывая ему немедленно рассчитать эту опасную особу... Мы, дети, восхищались милой Луизочкой, не подозревая, что розовое платье скрывало погибшую душу!".

Вообще молодой, тем более хорошенькой гувернантке было крайне сложно пристроиться на хорошее место; ей долго (пока не проходил главный недостаток — молодость) приходилось соглашаться на копеечное жалованье и почти неизбежно терпеть домогательство кого-нибудь из домашних. Спасть от этого можно было, только пожертвовав молодостью и миловидностью: некрасиво причесываться, нацепить на нос очки или пенсне, надеть невзрачное "старушечье" платье и т. п.

Гувернеры во многом воспитывали ребенка по собственному образцу, вот почему важны были и внешние признаки надежности и серьезности, и сама

личность воспитателя, к которой наиболее разумные родители внимательно присматривались. Хорошие гувернеры не должны были быть ни излишне мечтательными, ни слишком набожными, должны были воплощать собой благоразумие и в то же время обладать хорошими манерами. "Ничего слишком" — этот девиз всего воспитания имел отношение и к личности воспитателя.

Чаще всего к гувернерам обоего пола относились как к домашним людям, сердечно и вполне уважительно. Если в Германии и Англии (вспомним "Джен Эйр") гувернантка занимала положение привилегированной прислуги (где-то наравне с экономкой), то в России она входила в число домочадцев. Такой статус в то время определялся прежде всего по тому, где именно полагалось человеку обедать: за общим столом (пусть и на последних, "нижних" местах), или в своей комнате, или вовсе в людской за одним столом с прочей прислугой. В России гувернеры и гувернантки обедали вместе с детьми — то есть либо на детской половине, либо за общим столом.

Статус гувернеров определялся и местом при переездах. Как вспоминал граф Н. Е. Комаровский, у них в семье, когда отправлялись из города в деревню на лето и обратно в город осенью, сами господа и их ближайшие родственники располагались в удобных рессорных экипажах впереди. Далее следовали менее удобные нерессорные экипажи, и вот в первом-то из них, в "тарантасе", "сидели по чину мосье и мадам, т. е. гувернер и гувернантка господских детей, за ними следовали в тарантасе все няньки, мамки и старшие домочадцы, вся же прочая дворня и сенные девушки довольствовались передвижением в повозках и бричках".

Многие гувернеры — особенно женщины — искренне привязывались к детям (а те к ним). По

воспоминаниям Е. А. Сушковой, таким человеком была и ее гувернантка. "Ее метода, а еще более ее ласковое, учтивое и дружеское обращение со мною, ее искреннее участие ко мне много способствовали моим успехам и моему развитию. Она неусыпно старалась выказывать меня со всех лучших сторон; поворчит, бывало, когда мы с ней наедине, но при третьем лице всегда меня хвалила и поощряла".

Такие воспитательницы часто становились действительно домашними людьми. В этом случае за душевность им прощались многие недостатки — и чудачества, и нехватку знаний. Такие гувернантки были в доме незаменимыми людьми и выполняли функции, далеко выходящие за рамки только воспитания. "Идеал гувернанток" А. О. Смирновой-Россет "Амалия Ивановна была все в доме: и нянька, и учительница, и ключница, и друг маменьки, и вторая мать нам, даже доктор. Ее глаза и присмотр были везде. Она любила чистоту и порядок. В пять часов она уже просыпалась, тотчас надевала корсет, кофточку, юбку и тотчас отправлялась в буфет, где выдавала провизию повару и буфетчику... Она была мастерица на все и во всем успевала, чистила клетку моей канарейки, чистила и моего серого попугая, сушила яблоки ("это хорошо против кашля"), учила меня вязать чулок и читать по-немецки и по-французски, кроила платья и заставляла меня подрубать". Связи с отслужившими в доме гувернантками часто продолжались всю жизнь: их навещали, им делали подарки, иногда приглашали воспитывать уже собственных детей (как это было в доме А. О. Смирновой-Россет).

Е. А. Сабанеева рассказывала, что, когда в ноябре 1825 года в Москве получили известие о смерти Александра I и по городу ходили тревожные слухи о грядущих волнениях, в дом ее родственников князей

Оболенских рано утром явилась их старенькая гувернантка мадам Стадлер.

"На руке у нее висел саквояж; она так скоро шла, что едва могла перевести дух. Княжны очень обрадовались своему старому другу. Ее усадили в кресло и стали снимать с нее шубу, шляпку и вуаль. Отдохнув, она сказала (в оригинале по-французски. — В. Б.): "Дети мои, являюсь к вам по-дорожному. Слухи носят, что в городе готовятся беспорядки, а пожалуй, и мятеж. Кто знает, может быть, мы накануне баррикад? Жизни нашей, может быть, грозит опасность. Ну что ж, да будет воля Божья — я же подбодрилась, обняла моего старика мужа, распростилась с моими — и к вам; по-моему, если умирать — так умирать с моими Оболенскими"".

В начале XIX века все русские институты благородных девиц ввели у себя педагогическую специализацию, и скоро довольно высокий процент среди гувернанток составляли уже русские воспитательницы. Об одной из них вспоминал М. И. Глинка: "...выписали нам гувернантку Варвару Федоровну Кламмер из Петербурга. Это была девица лет 20, высокого росту — строгая и взыскательная. Она... воспитывалась в Смольном монастыре и взялась учить нас по-русски, по-французски, по-немецки, географии и музыке".

Еще позднее армию гувернанток пополнили "ученые женщины", получившие специальное педагогическое образование на высших курсах или даже в зарубежных университетах, которые много раньше российских открыли свои аудитории женщинам.





Из числа курсисток, выпускниц Высших женских курсов, была в самом конце XIX века воспитательница Т. А. Аксаковой-Сивере, "немолодая девица с высшим педагогическим образованием. Звали ее Юлия Михайловна Гедда. Учила она по новейшим педагогическим методикам...Мы приучались к ручному труду (я вышивала по канве, брат плел корзиночки и платочки из разноцветной бумаги). Общеобразовательные предметы были поставлены серьезно. Мы посещали музеи, ботанический сад, познакомились с историческими достопримечательностями Петербурга. Благодаря заботам Юлии Михайловны, в возрасте семи лет я уже

видела и египетские мумии нижних зал Эрмитажа, и его Петровскую галерею, и витрины Кунсткамеры Васильевского острова, и наиболее известные картины музея Александра III. Помню, как нас еще совсем маленькими Юлия Михайловна водила в какую-то школу, чтобы показать прибор со вращающимися вокруг свечи глобусами и дать нам наглядное пояснение движения Земли вокруг Солнца".

Гувернеры и гувернантки появлялись в доме в тот период, когда главным занятием детей становилось учение, то есть им исполнялось лет пять — семь. Обычно и у мальчиков, и у девочек это была гувернантка, в обязанности которой, помимо иностранного языка, входило и обучение хорошим манерам, а также музыке, рисованию и начальным сведениям из истории и географии. Гувернантка жила на детской половине; иногда ей предоставляли отдельную комнату, но чаще ее кровать находилась в детской и в лучшем случае огораживалась ширмами или легкой перегородкой. Для мальчиков в этом случае отводилась соседняя комната.

Гувернантка постоянно была с детьми, готовила с ними домашние задания, следила за их здоровьем, проводила с ними досуг, ходила с ними гулять, давая по дороге пояснения всего замечательного, что попадалось на глаза, занимала их играми и рукоделием, читала им вслух, приучала к домашнему хозяйству, сопровождала воспитанников в гости и наблюдала за их манерами, общением и разговорами. В обязанности гувернантки входил и досмотр за няней, и присмотр за тем, что читали дети. Еще воспитательница вела журнал поведения детей и утром, приводя воспитанников приветствовать родителей, докладывала об их успехах, показывала отметки за вчерашние уроки, и родители одобряли или порицали детей. Нанятая в дом "для языка", гувернантка обязана была говорить с

детьми только на нем, даже если хорошо знала по-русски.

Чтобы воспитание было единообразным, родители в порядок, установленный гувернанткой, обычно не вмешивались, наблюдая за ходом дела со стороны, а если возникали какие-то претензии, старались высказывать их наедине, не при детях.

При обилии и многообразии обязанностей отпусков гувернерам не полагалось; выходные — изредка (при наличии сменщика). Тем не менее во многих случаях, особенно при наличии толковой няни, свободное время у них было — читать, ходить в гости, заниматься музыкой, подолгу беседовать с другими гувернерами и т. п.

Через несколько лет (обычно между семью и девятью годами) к подросшим мальчикам вместо "мадам" приставлялся "мусью", то есть они окончательно переходили из женских рук в мужские, а значит, и сами начинали считаться маленькими мужчинами.

Гувернер продолжал учить детей иностранным языкам, создавал языковую среду и уроки вел на более серьезном, чем прежде, уровне. Параллельно он продолжал дело воспитания, начатое гувернанткой: следил за манерами и речью, наставлял, поучал, рассказывал, поправлял — и точно так же неотлучно находился при воспитанниках. При этом старался воспитать в мальчиках именно мужские качества. Князь П. А. Кропоткин вспоминал: "Мы все время были с мосье Пулэном, нам было весело с ним: он купался с нами, увлекался грибами и охотился за дроздами и даже воробьями. Он всячески старался развивать в нас смелость и, когда мы боялись ходить в темноте, старался отучить нас от этого суеверного страха. Сначала он приучил нас ходить в темной комнате, а потом и по саду поздно вечером. Бывало, во время

прогулки Пулэн положит свой неразлучный складной нож со штопором под скамейку в саду и посылает нас за ним, когда стемнеет. В деревне не было конца приятным впечатлениям: леса, прогулки вдоль реки, карабканье на холмы старой крепости, где Пулэн объяснял нам, как русские защищали ее и как татары взяли ее...

Бывали приключения. Во время одного из них мосье Пулэн стал героем на наших глазах: он вытащил из реки тонувшего Александра... В ненастные дни у мосье Пулэна был большой запас историй для нас, в особенности про войну в Испании (речь идет о наполеоновской войне 1808-1814 гг. — В. Б.). Мы постоянно просили рассказать нам опять, как он был ранен в сражении, и каждый раз, как он доходил до того места, что почувствовал, как теплая кровь льется в сапог, мы бросались целовать его и давали ему всевозможные нежные имена".

Гувернер конечно же имел большое влияние и на развитие вкусов, ума, всей духовной жизни мальчиков. Б. Н. Чичерин вспоминал о своем гувернере-англичанине: "Меня пленяла в нем необыкновенная живость ума, разнообразие сведений и интересов, наконец, его обходительность, ибо он обращался с нами не как с учениками, а как с себе равными, разговаривая с нами обо всем, шевеля в нас мысль, открывая перед нами новые горизонты. Его уроки не были рутинным преподаванием избитых материй. Не будучи педагогом по ремеслу, он с большим тактом умел выбрать то, что могло заинтересовать и возбудить молодой ум в самых разнообразных направлениях...Он не только давал нам читать книги, но и сам читал нам вслух избранные места из различных авторов. С каким услаждением слушали мы его, когда он в виде отдыха и забавы всякий день по окончании урока с большим юмором и выражением читал нам недавно вышедшие "Записки

Пиквикского клуба". Для нас это было настоящим праздником; мы хохотали до упаду... С таким же юмором Тенкат читал нам сцены из "Генриха IV" Шекспира, где является лицо Фальстафа. А рядом с комедией он знакомил нас и с трагедией, читал сцены из "Ричарда III" или из "Макбета", заставляя нас понять трагичность положения, возвышенность чувств, благородство языка. Чтение английских писателей сделалось постоянным нашим занятием в свободные часы... Тенкат учил нас и латинскому языку. Не будучи большим латинистом, он и тут умел чрезвычайно умно заинтересовать учеников изучаемым предметом, не налегая слишком на грамматические формы, а обращая внимание главным образом на силу и красоту языка и на внутренние достоинства писателей... Таким образом, в этом преподавании поэтические восторги смешивались с тонким пониманием юмора, возбуждение пытливости ума с развитием вкуса. И так как при этом не было ни малейшего педантизма, а при обыкновенной живости и такте преподавателя все усваивалось легко и свободно, то учение имело для нас большую прелесть. Даже когда случалось, что нужно было сделать какое-нибудь замечание или внушение, Тенкат всегда придумывал для этого такую форму, которая нас самих занимала и забавляла. Помню, что однажды он с большим юмором описал по-английски, как младший брат мой Владимир, тогда еще ребенок, отлынивая от урока, рыскал по коридорам и по кладовым, и заставил его перевести это описание на французский язык... Мир да почиет над его прахом! Он раскрыл мне целую бесконечность новых мыслей и чувств и оставил по себе в моем сердце неизгладимую благодарность".

Когда мальчиков передавали на руки гувернера, девочки оставались со своей гувернанткой (или с новой,

как случилось), но тоже начинали заниматься более серьезно, чем прежде.

Годам к десяти начальное образование у всех детей считалось завершенным, и в дом, в дополнение к гувернерам, начинали приглашать учителей. Гувернеры должны были присутствовать на всех уроках, чтобы следить за поведением воспитанников, знать, что им преподают, и при необходимости улаживать возникающие конфликты.

Учителя бывали двух категорий: одни селились в доме и жили в нем несколько недель или месяцев (чаще летом) и за это время выучивали ребенка своему предмету. Другие учителя (обычно в городе) ходили в дом "по билетам". Эти "билеты" вручались им после каждого проведенного урока, а в конце месяца по их количеству наставнику выдавали почасовую плату.

Как правило, приходящие учителя преподавали Закон Божий, математику, танцы, русский язык и словесность, историю России, иногда какие-то специальные предметы, которым почему-либо решили учить детей: физику, зоологию, архитектуру и пр.

Такое обучение обходилось довольно дорого, поэтому уже с конца XVIII века часть предметов старались преподавать сами родители или другие родственники: матери брались за языки и Закон Божий, отцы — за математику и историю. Так, в семье Елагиных по-английски учились у гувернантки; отец учил мальчиков латыни, истории, географии и немецкому языку, мать — русскому, славянскому и французскому языкам и Закону Божьему, а для математики брали учителя-студента. М. В. Беэр вспоминала: "Свои уроки истории брату и мне отец давал, ходя по саду и лесу. Я помню, бывало, проголодаешься и ждешь с нетерпением, чтобы зазвонили в колокол к обеду на усадьбе, а отец, услышав колокол, спешит уйти со мной

подальше, чтобы успеть побольше поучить. И слушаешь уже рассеянно и в душе сердишься на отца".

А у князей Репниных немецкому, греческому и латыни учил гувернер, русскому языку — какой-то чиновник, танцам и рисованию — учитель, истории, географии, арифметике девочкам — гувернантка-француженка, Закон Божий всем детям преподавала мать, а позднее они брали уроки у местного архимандрита, "весьма ученого человека".

Нередко родственники заменяли отсутствующих в это время учителей или учили тем предметам, которых не знали родители. В семействе помещика В. В. Селиванова обучением детей заведовала тетка, но арифметику преподавал дядюшка. Точно также и С. П. Шипова, несмотря на наличие учителя — местного чиновника в чине коллежского асессора, — арифметике учил дядя, брат матери. А в семействе графов Бутурлиных не взятых на лето в поместье учителей русского и французского младшим детям заменяла старшая сестра. Кстати, такая практика для девушек считалась очень полезной, так как готовила их в дальнейшем к обучению уже собственных детей.

Бывали в качестве наставников и крепостные: конторщики могли учить барчуков математике, собственные музыканты — музыке и т. д.

Случались и совсем необычные случаи учительства. Однополчанин известного поэта, декабриста К. Ф. Рылеева, А. И. Косовский вспоминал, что недалеко от расположения их полка жил помещик Михаил Тевяшов. "У него были две дочери 11 и 12 лет, но без всякого образования, даже не знали русской грамоты. Смотревши на семейство Тевяшовых, мы удивлялись и сердечно сожалели, что русский дворянин, хорошей фамилии, с состоянием, мог отстать от современности до такой степени и не озаботиться о воспитании двух дочерей. Рылеев первый принял живейшее участие в

этих двух девицах и с позволения родителей принял на себя образование их, чтобы по возможности вывести их из тьмы... Взявши на себя столь важную обязанность, Рылеев употребил все усилия оправдать себя перед своей совестью: постоянно занимался с каждой из учениц, постепенно раскрыл их способности; он требовал, чтобы объясняли ему прочитанное и тем изоощрял их память; одним словом, в два года усиленных занятий обе дочери оказали большие успехи в чтении, грамматике, арифметике, истории и даже Законе Божиим, так что они могли хвалиться своим образованием противу многих девиц соседей своих, гораздо богаче их состоянием, в особенности старшая дочь, Наталья Михайловна, сделалась премилая умненькая девица". На этой-то самой Наталье Михайловне Рылеев вскоре и женился.

Среди учителей ("и в дом, и по билетам") в равной степени присутствовали как иностранцы, так и русские.

В XVIII веке русские учителя вербовались в основном из самого же "благородного сословия" — офицеров и чиновников. С конца века в этом качестве часто выступали университетские профессора и студенты-семинаристы, а еще позднее — университетские студенты и преподаватели гимназий.

Против русских наставников довольно долгое время в "хороших домах" существовало предубеждение. Большинство из них принадлежали к разночинной или духовной среде, которая не могла похвастаться изящными манерами и светскостью. Их сторонились, так же, как сторонились дворовых: чтобы не испортили ребенку свежий и старательно наведенный лоск. Лишь в середине XIX века, по мере роста числа вполне воспитанных в светском понимании учителей-русских, их услуги сделались более востребованы.

Среди русских наставников, много работавших в знатных семьях, встречались и такие крупные фигуры,



как М. А. Максимович (поэт и ученый-энциклопедист), видный поэт и переводчик С. Е. Раич (среди его учеников был поэт Ф. И. Тютчев), великий историк С. М. Соловьев — в студенческие годы он регулярно летом преподавал у графов Строгановых "русские" предметы — историю, язык и словесность. В семьях Самариных, где у него учился знаменитый славянофил публицист Ю. Ф. Самарин, а затем А. С. Сухово-Кобылиных был домашним учителем крупный критик, журналист Н. И. Надеждин. Здесь завязался его долгий и мучительный роман с Елизаветой Васильевной Сухово-Кобылиной. Девушка отвечала ему взаимностью, но ее родители-аристократы решительно восстали против брака с плебеем и "поповичем", и это сломало и карьеру, и личную жизнь Надеждина, а его возлюбленную едва не довело до безумия. Он так и остался холостым, а ее впоследствии все-таки выдали замуж за графа Салиаса де Турнемира. Позднее Елизавета Васильевна прославилась как писательница, под псевдонимом Евгения Тур.

При любом раскладе русские наставники обходились существенно дешевле иностранных. В конце XVIII века семинариста можно было нанять за 50 рублей и пару платья (сумма в год) и при этом еще приспособить учителя вести счета или присматривать за хозяйством, а в 1840-х годах русский наставник получал от силы 25 рублей ассигнациями в месяц, "зато французам и француженкам не жалели тысяч".

## **XVII. Идеал воспитания**

В своем поведении и образе жизни дворянство ориентировалось на достаточно определенный идеал. К дворянским детям применялось "нормативное" воспитание, которое не столько развивало личность, сколько вырабатывало соответствие образцу (впрочем, это относилось ко всякому сословию: дети должны были походить на родителей). Этот идеал весьма сильно варьировался в зависимости от близости к столицам и места на иерархической лестнице, семейных традиций и среды, но он присутствовал всегда.

В нравственном воспитании черты допетровского идеала — человека безоговорочно преданного государю, набожного, аскетичного, благочестивого и благотворящего — долго сочетались с заимствованным из Европы идеалом рыцарственности с его новым пониманием личной чести, собственного достоинства, честности и благородной независимости.

В конце XVIII века, во времена классицизма, серьезным элементом поведенческой модели становится герой Античности, каким он представал со страниц трудов Плутарха, Тита Ливия, Цицерона, Тацита. Возникает настоящий культ несгибаемых стоиков, мудрых законотворцев и отважных полководцев, самоотверженных ораторов и доблестных воинов, жертвующих собою ради отечества. "Голос добродетелей Древнего Рима, голос Цинциннатов и Катонов громко откликался в пылких и юных душах... — писал С. Н. Глинка. — Были у нас свои Катоны, были подражатели доблестей древних греков, были свои Филопомены".



Герои Античности тоже воспринимались подростками и юношами как эталоны благородства, мужества и чести; им подражали буквально. И прыгали со стола, как Курций, и жгли руку раскаленной линейкой для подтверждения своих слов, как Муций Сцевола, и рвались на войну, чтобы уподобиться Гектору или одному из трехсот спартанцев. Рассказывали, что юный Никита Муравьев (будущий известный декабрист) никак не хотел танцевать на детском балу. Мать подталкивала его к танцующим, а

Никита пресерьезно спрашивал: "Маменька, разве Аристид и Катон танцевали?" — "Разумеется, танцевали в твоём возрасте", — отвечала умная мать.

Наверное, не было ни одной дворянской семьи (кроме уж совсем деклассированных), где бы родители и — с их подачи — наставники напрямую учили детей подлости, беспринципности и лжи. Все хотели видеть своих сыновей и дочерей добрыми, честными и великодушными и внушали добро.

Графиня В. Н. Головина вспоминала, что ей "строго запрещалось лгать, клеветать на кого бы то ни было, невнимательно относиться к несчастным, презирать соседей — людей бедных, грубоватых, но добрых".

Граф С. Л. Толстой вспоминал, что для его отца самыми серьезными проступками детей были "ложь и грубость", к кому бы они ни допускались — к родителям, воспитателям или прислуге. Столь же недопустимыми Толстой считал и грубую фамильярность в дружеских отношениях.

Но, как водится, на личность подростка влияли и общепринятые идеалы, и прочитанные книги, и наставления нянек и гувернеров, и невольный пример родителей — Собакевичей и Ноздревых, либо образцовых Болконских, и общение с соседями — "секунами и серальниками", или же олицетворениями "честной бедности", или "великодушного богатства", и мир людской и девичьей, и друзья.

Дворянский ребенок редко рос в одиночестве. Помимо приятелей-дворовых, перед которыми все-таки сохранялось превосходство, рядом с ним практически всегда находились ровесники — братья и сестры, родные, двоюродные и совсем дальние, а также соученики, даже если образование проходило дома.

Очень широко был распространен обычай брать в состоятельные дома детей небогатых родственников, знакомых, соседей, чтобы они могли учиться у тех же

учителей, что и хозяйские отпрыски. "Так как я была одна девочка между братьями, — вспоминала С. В. Капнист-Скалон, — то добрая мать моя, несмотря на то, что у нее было достаточно забот со своими детьми, взяла на воспитание к себе еще трех девочек".

Таким поступком достигалось сразу несколько целей: проявляли дворянскую солидарность, что было обязательно для благородного человека; совершали акт благотворительности, а также приглашали к своим детям товарищей, полагая, что в коллективе, когда возникает дух состязательности, результаты учения бывают лучше.

Порой набиралось преизрядное общество: так, в семье Юшковых у одной несчастной гувернантки (которой, правда, помогали неизбежные няньки) обучалось аж 16 человек детей!

А там, где образуется хоть небольшой детский коллектив, неизбежно возникают общие этические правила: не трусить, не жаловаться, не ныть, не хвастаться, не подлизываться и даже — не покоряться чужой воле. "Мы понимали, что обязаны слушаться, когда нас учат делу, — писала М. К. Цебрикова, — но не признавали, чтобы нужно было слушаться всех приказаний и делать то, чего нам делать не хочется, только потому, что того хотят взрослые". И этот моральный кодекс соблюдался детьми жестко и бескомпромиссно.



Общая картина дворянского воспитания получалась очень пестрой. В ней находилось место и высокомерию, низкопоклонству, родовому чванству, разнузданности и духовной пустоте одних, и доблести, обостренному чувству собственного достоинства, верности принципам (даже в ущерб благоразумию) и высокому сознанию ответственности других. Ну и множество промежуточных типов, имевших репутацию "добрых малых" и равно способных как на великодушие, так и на

безнравственность, толклись между этими двумя полюсами. И если "лучшие из русского дворянства" считали своим долгом всегда быть образцом высоких моральных качеств, ибо "кому много дано, с того много и спросится", то у основной массы и верность, и честность, и нравственность, увы, имели свои пределы, определяемые границами собственного сословия. Даже уважение к женщине часто заканчивалось там, где кончался "свой круг". Как писал прозаик А. С. Афанасьев-Чужбинский, даже "любить поэтически допускалось только женщину равного или высшего сословия, а остальные не пользовались этим предпочтением, так что самый ярый платоник, страдавший по какой-нибудь княжне, довольствовавшийся одними вздохами, целовавший ее бантики и ленточки, выпрашиваемые на память, в то же время соблазнял и бросал мещанскую или крестьянскую девушку".

Офицерский суд чести мог исключить офицера из полка и за отказ драться на дуэли, и за женитьбу на "неровне" — купчихе, актрисе или женщине нехристианского вероисповедания.

Если в детстве молодечеством было украсть изюм из кладовки, то во взрослом возрасте — соблазнить жену друга или однополчанина; правда, уличенный в этом дворянин не юлил, а прямо признавался в содеянном и выходил на поединок: дуэли были отчасти следствием твердой привычки отвечать за свои поступки и слова.

Наличие "двойных стандартов", обусловленных сословностью, — то самое, за что Лев Толстой ненавидел свое сословие и порицал его в лице своего героя, графа Вронского, человека доброго и честного, который был тем не менее убежден, "что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно, — что лгать не надо мужчинам, но женщинам можно, — что обманывать нельзя никого, но мужа можно, — что

нельзя прощать оскорблений и можно оскорблять и т. д."

И все же были вещи, которые объединяли большинство дворян — и тех, что заслуживали определения "лучших людей своего и всякого времени", и скромных "середнячков".

Всякий дворянин четко знал свое место в длинной веренице предков и родных. Он знал о подвигах отца и дядьев от своего дядьки; в его комнате висели портреты дедов, и мамушка или ключница еще в младенчестве, указывая на них пальцем, рассказывала, кто чем прославился. Бабушка, как это вспоминала, к примеру, Е. А. Сушкова, толковала "о предках, об их роскошном житье, об их славе, богатстве, о милостях к ним наших царей и императоров, так что эти рассказы мало-помалу вселили такую живую страсть к ним и их знатности, что первое горе девочки было "зачем я не княжна"...." "Бабушку очень радовала моя "благородная гордость"", — добавляла Сушкова.

В кабинете отца отрок видел художественно исполненное "фамильное древо" или родовой герб. Князь П. А. Кропоткин вспоминал: "Отец мой очень гордился своим родом и с необыкновенной торжественностью указывал на пергамент, висевший на стене в кабинете. В пергаменте, украшенном нашим гербом (гербом Смоленского княжества), покрытым горностаевой мантией, увенчанным шапкой Мономаха, свидетельствовалось и скреплялось департаментом Герольдии, что род наш ведет начало от внука Ростислава Мстиславича Удалого и что наши предки были великими князьями Смоленскими".

Всякий дворянин знал свою родословную во всех подробностях и постоянно соотносил себя со своими предками. Любые дворянские мемуары начинались с генеалогического очерка, и даже, как мы видели, князь Кропоткин, ко времени написания своих "Записок



революционера" давно и совсем порвавший со своим классом и его культурой, не удержался и ввернул-таки про князей Смоленских.

Каждый дворянин принадлежал не только себе, но и своему роду и знал, что от него зависит и существование этого рода, и его репутация, то есть родовая честь.

Кроме того, всякий дворянин четко знал свои права — общие со всем благородным сословием, и в первую очередь свое право служить царю и быть им за то взысканным.



Чувство к государю — это вообще не обсуждалось. Его положено было любить — как родину. Т. П. Пассек вспоминала об одном из своих соседей-помещиков: "Питая к государю глубокое чувство благоговения и верности, он внушал его и детям своим, и раз, под влиянием этого чувства, жестоко наказал старшего сына своего Александра за детскую шалость, понятую им как дерзость. Будучи ребенком лет десяти, Александр, играя в зале железным аршином, остановился против поясного портрета Петра Великого;

вдруг ему показалось, что Петр Великий смотрит на него сердито, он стал грозить ему аршином и, разгорячась, так сильно хватил аршином по портрету, что прорвал полотно. В эту минуту в залу вошел отец и вскрикнул: "Ах ты негодяй! На государя-то своего поднял руку!" С этим словом вырвал у него аршин и жестоко отколотил им сына".

А в известной повести Н. Г. Гарина-Михайловского "Детство Темы" умирающий отец дает сыну единственный завет: "Если ты когда-нибудь пойдешь против царя, я прокляну тебя из гроба".

На детский вопрос: "А когда я вырасту, я стану царем?" — взрослые отвечали: "Царем ты не будешь, но ты сможешь советовать царю".

Обязанности дворянина, также твердо им усвоенные, — не только проливать кровь за отечество, но и отвечать за всех "своих" — семью, детей, слуг, "подданных". Все они зависели от него — их благополучие, благосостояние, моральное и физическое здоровье — все это было делом дворянина, и он сизмальства знал, что за всех будет давать ответ Богу.

И для успешного выполнения своей миссии — царского слуги, главы семейства, господина своих подданных, полномочного представителя своего рода, своих предков и потомков, дворянин обязан был твердо знать, что благородство — это умение ставить других людей как минимум не ниже себя, а достоинство — умение ставить себя не ниже других.

В. А. Жуковский наставлял своих учеников: "Не подвергайте тех, кто вас окружает, чему-либо такому, что может их унижить; вы их оскорбляете и отдаляете от себя, и вы унижаете самих себя этими проявлениями ложного превосходства, которое должно заключаться не в том, чтобы давать чувствовать другим их ничтожество, но в том, чтобы внушать им вашим присутствием чувство вашего и их достоинства".

Благородство и достоинство — качества, которые были необходимы всякому дворянину. И даже если собственного человеческого материала оказывалось маловато, чтобы действительно обладать этими качествами, он вполне успешно обучался их изображать. Для этого и существовало "хорошее воспитание".

Для такой внешней поведенческой модели тоже имелся идеал, заимствованный из Западной Европы, — человека светского, считающего "жизнь в обществе" своим главным занятием. В соответствии с этим на первое место в воспитании выходили манеры и знание этикета (понятия, пришедшего в Россию одновременно с петровскими реформами); умение ловко и непринужденно двигаться, легко разбираться с любыми житейскими ситуациями, предусмотренными светским общением, свободно говорить на принятые в свете темы, быть галантным, приятным для взора и необременительным для восприятия.

В понятиях такого воспитания внутреннее и внешнее переплетались чрезвычайно тесно. Л. Н. Энгельгардт, отличавшийся, по его собственным словам, в детстве "злонравием", вспоминал: "Я был самых дурных наклонностей, ничего не мог сказать, чтобы не солгать; как скоро из-за стола вставали, тотчас обегал стол и все, что оставалось в рюмках, выпивал с жадностью, крал всякие лакомства... нередко приводили меня с поличным к матери моей, которая со слезами говаривала: "Один сын, но какого ожидать от него утешения от таковых порочных склонностей"... сверх того, был я неловок, неопрятен, и стан мой был крив и сутуловат; вот какую я обещал моим родителям радость". Заметим, что приведенные Энгельгардтом нравственные пороки для него совершенно тождественны с плохими манерами и физической неловкостью — все это в равной степени

демонстрировало невоспитанность, недостойную благородного человека.

Воспитанный человек не мог обременять окружающих своей особой больше, чем это было необходимо, поэтому вел себя сообразно этому правилу.

Воспитанный человек не должен был спотыкаться и падать; у него не могло быть насморка или даже... беременности (дамы в заметном окружающем "интересном положении" не появлялись в свете: это было неприлично). Воспитанный человек не мог быть голодным, невыспавшимся, грязным; даже умирая с голоду, он не хватал еду, не запихивал ее в себя с жадностью; он должен был быть чистоплотен и аккуратно одет.

Он уважал личное пространство окружающих: не трогал их руками, не навязывался с разговорами и пр.

Он не раздражал общество экстравагантностью наряда, громким голосом и смехом, обмороками и слезами.

Он не навязывал другим своих переживаний — в особенности неприятных и тяжелых — и скрывал свой внутренний мир от окружающих.



Очень характерен в этом отношении эпизод с Александром I, о котором современники говорили как о человеке, в высшей степени воспитанном. У Александра была внебрачная дочь Софья Нарышкина; его единственный, горячо любимый ребенок (все прочие его дети от законной жены и возлюбленной умерли в младенчестве). Это была очаровательная девушка. Ей исполнилось 16 лет; она уже имела жениха и вскоре должна была выйти замуж. Отец любовался ею. И вдруг у девочки обнаружилась скоротечная чахотка, и в несколько месяцев она угасла. Умерла она в июне; отец — император Александр — был не очень здоров, но вел

обычный образ жизни и находился в Красном Селе, где предстояли военные маневры. Приближенные, любя его, боялись говорить о страшной новости. Наконец лейб-медик Виллие, который собирался нанести врачебный визит императору, согласился стать вестником несчастья. Едва он вошел, император все понял по его лицу.

Александр спросил: "Какие новости?"

Виллие ответил: "Все кончено. Ее более не существует". Александр отшатнулся.

Он не сказал ни слова, но из глаз его хлынули слезы. Рубашка на его груди сразу стала мокрой. Они с врачом были только вдвоем. Виллие вскоре вышел. В соседней комнате свитские зашептались, что маневры, скорее всего, будут отменены.

Через четверть часа император вышел из своей комнаты. Он был ровен, приветлив и любезен; переговорил с некоторыми из ожидавших его генералов, потом сел верхом и отправился на учения. Он был такой же, как всегда, и постороннему человеку и в голову не могло прийти, что в его жизни произошло нечто ужасное.

Как только маневры завершились, Александр вскочил в приготовленную для него коляску, запряженную четверней, и во весь карьер поскакал на дачу Нарышкиных, где лежало тело его дочери.

Через несколько часов он возвратился — на паре: две лошади не выдержали скачки и пали в дороге.

Император отказался от обеда, прошел к себе и заперся изнутри.

Настоящим экспертом по части хорошего воспитания был А. С. Пушкин. Сейчас мы знаем его "изнутри", по дружеским письмам и воспоминаниям близких, знаем по-свойски, в халате, меж тем как в обществе (особенно в зрелые годы, когда он перестал позволять себе юношеский эпатаж) это был безупречно

воспитанный человек, истинный аристократ. И. А. Гончаров вспоминал, как присутствовал в Московском университете при споре Пушкина с известным историком М. Т. Каченовским по поводу подлинности "Слова о полку Игореве".

"Я не припомню подробностей их состязания, — писал Гончаров, — помню только, что Пушкин горячо отстаивал подлинность древнерусского эпоса, а Каченовский вонзал в него свой беспощадный аналитический нож. Его щеки ярко горели алым румянцем, и глаза бросали молнии сквозь очки. Может быть, к этому раздражению много огня прибавлял и известный литературный антагонизм между ним и Пушкиным. Пушкин говорил с увлечением, но, к сожалению, тихо, сдержанным тоном, так что за толпой трудно было расслушать...

В позе, в жестах, сопровождавших его речь, была сдержанность светского, благовоспитанного человека". Как показателен этот контраст раздраженного разночинца Каченовского и спокойного, не повышающего голоса Пушкина — и это при "горячем" увлечении спором.





Хорошо воспитанный человек и должен был говорить внятно и небыстро, тихим голосом, без излишней оживленности, на языке, понятном всем присутствующим. Излишняя эмоциональность и фамильярность были неприличны. При произнесении фразы на иностранном языке ее не следовало переводить, чтобы не показать, что собеседники не владеют этим языком. В присутствии мужчин дамам не следовало говорить о нарядах и украшениях, а мужчинам при дамах — о технике, коммерции и политике. Приветствовались нейтральные темы, интересные (или равно безразличные) всем (Пьер Безухов, слишком горячо обсуждавший политические новости, вел себя неприлично).

Воспитанный человек должен был разборчиво писать, иметь приветливое выражение лица, одеваться просто и лучше по вчерашней моде. Не обвешиваться драгоценностями (недаром одну из героинь Лермонтова — провинциалку — порицают за то, что на ней "слишком много бриллиантов"). Он не должен был быть смешным.

Равно вульгарны считались и вызывающая роскошь, и неумеренное подчеркивание богатства, и искательство перед высшими, и покровительственное снисхождение к "маленьким людям".

В руководстве по этикету говорилось: "Обладающий в высшей степени знанием света и приличия не только бывает человеком изящным, достойным, вежливым, но он в то же время терпелив, снисходителен, доброжелателен к низшим, почтителен к высшим, он чувствителен, он не оскорбляет никого никогда". Особенно изысканным считалось держать себя одинаково дружелюбно и непринужденно как в присутствии вышестоящих (без раболепия), так и в присутствии стоящих неизмеримо ниже. Об одном из самых высокопоставленных в начале XIX века придворных — графе М. Ю. Виельгорском — вспоминали: "Одно его отличало — полная одинаковость обращения со всеми. Великого князя он принимал совершенно на равной ноге с самым невзрачным из простых смертных, если только этот простой смертный был от природы неглуп. В противном случае не принимали вовсе".

Весьма характерна и описанная Пушкиным сцена встречи знатным соседом его скромного героя И. П. Белкина в повести "Выстрел": "Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным; я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость... вдруг вошла графиня, и смущение

овладело мною пуще прежнего... Они, чтоб дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемонии".

При выяснении отношений в свете можно было прибегнуть и к выражениям достаточно резким и оскорбительным по существу — но не по форме. Даже в этих случаях неизменно использовались вежливые формы ("извольте", "соблаговолите", "будьте любезны" и пр.), и очень выручал французский язык с его округленными и изящными формулами.



Этикет с его подробной регламентацией избавлял человека от опасности оказаться в неловком положении или быть неправильно понятым. Заранее было известно, как и кому кланяться, как и о чем разговаривать, как ухаживать и делать предложение, как говорить комплименты, как учтиво благодарить (Печорин замечал, что у всякого воспитанного человека в запасе всегда было несколько готовых фраз для таких случаев). На все были свои навыки и правила, и воспитанный человек делал это "на автомате".

Вообще, чем выше на социальной лестнице стоял человек и чем лучше он был воспитан, тем проще и естественнее он держался. Ему нечего и некому было доказывать. Он был самодостаточен. Напыщенность и жеманство считались качествами, безусловно, вульгарными. В Сибири декабрист князь С. Г. Волконский умел быть своим и в салоне своей жены, и в обществе мужиков на местном базаре (с которыми любил поговорить "за жизнь"), и в подобной способности быть одинаково естественным в любой житейской ситуации Ю. М. Лотман справедливо видел "одно из вершинных проявлений русской культуры".

Отсюда проистекало еще одно качество: умение воспринимать все происходящее как данность; не суетиться и не опускаться до грубости, склок, выяснения отношений и пр.

Не существовало такой неловкости, которую нельзя было бы загладить самообладанием и спокойствием. Дама, с которой во время бала упало нижнее белье, спокойно перешагнула через него и продолжала танцевать дальше, словно происшедшее не имело к ней никакого отношения. Известная графиня А. Ф. Закревская, у которой во время обеда из чрезмерно декольтированного платья выпала — прямо в тарелку — грудь, совершенно хладнокровно и даже едва ли не продолжая светский разговор, обтерлась

салфеткой и поправила беспорядок в одежде. И хотя все окружающие заметили ее конфуз, именно как конфуз-то его и не восприняли. Для особы менее светской и воспитанной подобные неприятности могли стать источником серьезных психологических комплексов.

В целом дворянское воспитание подчинялось двум девизам: "Не быть, а казаться" и "Ничего слишком".

Именно поэтому чрезмерная религиозность, ученость или патриотизм создавали репутацию ханжи, педанта, "экзальтированной головы", в то время как ценились здравый смысл и умеренность — и вот еще одна причина, почему так медленно водворялось в дворянстве серьезное образование.

Конечно, во всей этой системе было маловато естественности, но именно отсутствием таковой культурное растение и отличается от дичка.

И что бы в итоге ни выросло ("что выросло — то выросло"), но смотреть на дворянина и общаться с ним было всегда приятно. Он нипочем не показывал, что на самом деле о вас думает, был до конца ровен, предупредителен и приветлив, разве что, как Павел Петрович Кирсанов, подносил время от времени к лицу наодеколоненный платочек.

## **XVIII. "Этикетное" воспитание**

Обучать дворянского недоросля всем мелочам повседневного этикетного поведения должны были гувернеры и только при их отсутствии — родители. А мелочей этих было великое множество. Вот что говорилось в одном из руководств по этикету: "Гораздо легче объяснить, что такое дурные манеры, чем определить сущность хороших. Для каждого пола и возраста есть свои оттенки:

Мужчина никогда, ни под каким видом не должен в разговоре запускать руку в карман брюк.

В присутствии женщин мужчина не должен садиться верхом на стул. Ни девушка, ни молодая женщина не должны разваливаться на кушетке перед мужчиной.

Молодой человек и молодая девушка не должны разваливаться в кресле, ни опираться локтями о стол; в особенности неприлично это во время еды.

Мужчина не должен разговаривать ни с женщиной, ни с уважаемым им мужчиной, имея в зубах сигару или со шляпой на голове.

Дурной манерой считается напевать на улице или в комнате, так же, как стучать пальцами по столу и вообще производить какой бы то ни было шум.

Шептанье, подавленный или слишком громкий смех также не приняты в хорошем обществе.

Ни женщина, ни мужчина не должны сидеть, положив ногу на ногу. Пожилая женщина может позволить себе несколько большую свободу в манерах, которые, однако, должны оставаться вполне сдержанными".

Здороваясь, следовало целовать руку даме, но ни в коем случае не девушке и т. д. и т. п.

Многого просто нельзя было предусмотреть, и воспитанный человек сам по наитию угадывал, что именно нужно делать в той или иной ситуации.



Светская муштровка должна была до известной степени сделать детей одинаковыми, подавить чрезмерные проявления индивидуальности и "естественности", подогнать под довольно строгий поведенческий шаблон, и вследствие такой подгонки самым главным в воспитании считалось

противодействие "упрямству" и "строптивости" детей, причем с самого раннего возраста. Даже рев двухлетнего ребенка вызывал у старших реплику: "Смотри, душа моя, у нее страшный характер. Если не сломишь теперь, потом много будет тебе горя".

Во многих случаях воспитатели просто считали за благо каждый раз поступать вопреки желанию детей. Жесткий контроль и принуждение воспринимались как норма.

Д. Г. Григорович, полуфранцуз по крови, и бабушка, и мать которого были в прошлом гувернантками, получил, можно сказать, двойную дозу гувернерского воспитания. "Я терпеть не мог молоко, — рассказывал он, — меня заставляли его пить под предлогом, что чай сушит грудь, кофе не принято давать детям и, кроме того, надо стараться подавлять первые порывы воли, которые сначала ничего больше, как капризы, причуды, но при потачке могут развиваться в неукротимое своеволие. Меня насильно заставляли есть сырую морковь, в уверенности, что она очищает кровь, и т. д. Когда я от чего-нибудь упорно отказывался и начинал плакать, меня немедленно ставили в угол и для большего назидания надевали на голову бумажный колпак с большими ушами. Все это, конечно, делалось с благими намерениями".

Хорошо воспитанный ребенок не должен был капризничать, но должен был беспрекословно подчиняться. Как замечал князь Е. С. Трубецкой: "Эта дисциплина, вошедшая в плоть и кровь, облегчила и облегчает еще многое в жизни. Но все же эта необходимая и разумная дисциплина не может не давить иногда на ребенка, особенно с живым характером".

Многие современники резко отзывались об этой педагогической системе, считая, что она подавляет врожденные, даже положительные, черты характера.



Так, А. П. Керн писала: "Любовь среды, окружающей детство, благотворно действует на все существо человека, и если вдобавок, по счастливой случайности, не повредят сердца, то выйдет существо, презиравшее все гадкое и грязное, не способное ни на что низкое и отвратительное, не понимающее подкупности и мелкого расчета. Дайте только характер твердый и правила укрепите; но, к несчастью, пока все или почти все родители и воспитатели на это-то и хромают; они почти сознательно готовы убивать, уничтожать до корня все, что обещает выработаться в характер самостоятельный в их детях. Им нужна больше всего покорность и слепое послушание, а не разумно проявляющаяся воля".

Другие, как Б. Н. Чичерин, полагали, что "в воспитании недурно иногда заставлять детей проделывать то, что им неприятно. Если это делается благоразумно и с умением, от этого, кроме пользы, ничего не может произойти. Через это выделяется характер и приобретает привычка терпеливо сносить маленькие жизненные неприятности, которыми усеян путь человека". Таким образом, мнения прошедших эту школу разделялись.

Жестким диктатом достигалась и внешняя выправка. Гувернантка должна была буквально ходить следом за воспитанниками и без конца повторять: "Держитесь прямо. Не смейтесь. Не говорите громко. Не ходите скоро. Опустите глаза..." И при этом то и дело: "Parlez done français!"<sup>[7]</sup>.

Контролировался каждый шаг, и все неподобающее немедленно пресекалось. Требовалось следить, чтобы дети не тянули слов, не кричали и не шептали, не говорили сдавленным голосом, выговаривали слова и фразы ясно и четко, говорили не монотонно, а с интонациями; не перебивали старших, вообще

собеседника, говорили, лишь "когда другой перестанет"; ходили не раскачиваясь, не переваливаясь, ступали бы не на пятки, а на носки. Стояли прямо, "не убирая головы в плечи", смотря "с почтением на того, с кем говорят"; сидели, не болтая ногами, ногу на ногу не клали, не опирались бы локтями о стол. Не допускали бы "неблагопристойности в лице": не мигали бы слишком часто, не гримасничали, не высовывали язык, не бегали бы глазами по сторонам, не смотрели бы с насмешкой. Не ковыряли в носу, не разевали рот и не "пялили" глаза, не кашляли громко, не зевали открыто (прикрывались рукой), не показывали сердитый или надменный вид. Требовалось постоянно проверять, как умыто лицо и руки, причесаны волосы, обрезаны ли или обгрызены ногти. А еще стол. Не класть локти на стол, не брать в рот пальцы, не теревить лицо и волосы, есть с хлебом, правильно держать приборы, не отвечать с полным ртом, не чмокать губами, не прищелкивать языком, не чавкать, не глотать большие куски и не хлебать шумно, не пачкать скатерть, не брызгать и не толкать соседа и т. п. Немедленно преодолевались также все проявления застенчивости, ибо она считалась в дворянском ребенке несомненным пороком.



С утра ребенок должен быть полностью одет, умыт, причесан, должен держаться прямо, смотреть весело, хотя бы на душе было и грустно, относиться ко всем со вниманием, строго держаться общественных приличий и быть готовым все к новым и новым замечаниям.

Временами гувернеры становились для детей просто ненавистны, да и тем такая работа, надо полагать, не доставляла особого удовольствия.

Для хорошей осанки, особенно важной для девочек, гувернантка, едва приступив к своим обязанностям, первым делом надевала на воспитанницу корсет. Считалось, что сделать это надо не позднее чем в семь

лет, иначе никогда не будет тонкой талии. При признаках сутулости в корсете полагалось ходить круглосуточно, даже спать в нем. Некоторые дамы так к этому привыкали, что потом всю жизнь спали в корсете. (О пользе подобного обыкновения мы умолчим.) Выправляли осанку и специальные упражнения: ходьба по комнате со сведенными лопатками и сцепленными за спиной руками; с толстой книгой на голове; ежедневные пятнадцатиминутные лежания плашмя на спине на полу и т. п. В результате воспитанную даму от "просто" дамы всю жизнь отличали легкая походка и прямая, как мачта, спина, а также манера всегда сидеть прямо, не откидываясь на спинку стула — даже в восемьдесят лет.

И во всей этой многотрудной воспитательной работе наставники всегда исповедовали главный принцип: "Ничего слишком". Именно поэтому гувернер порицал Пушкина за сочинение стихов, отвлекающих его от домашних заданий, а Чайковского гувернантка чуть не силой вытаскивала из-за рояля и заставляла гулять или играть с другими детьми.

Помимо ежедневной и упорной муштры, тонкости хорошего воспитания постигались и на регулярных "практических занятиях". В пансионах пару раз в году устраивали репетиции различных бытовых ситуаций: как выйти к гостю, как его проводить, дать согласие на танец, как сесть играть по просьбе кавалера, как встретить пожилых родственников и т. п.

Графиню В. Н. Головину уже в восемь лет мать оставляла в одиночку встречать и занимать гостей. "Она уходила в соседнюю комнату, шила там в пальцах и могла оттуда, не мешая нам, слушать весь разговор". Сходным образом поступала, видимо, и мать маленькой "дамы", описанной в одном из очерков Л. П. Казиной ("Картинки домашнего воспитания"):

"Поднимается портьера из внутренних комнат, и выходит тоненькая грациозная девочка 11 лет, стройная и высокая для своего возраста. В ней все изящно, начиная с манер, кончая костюмом и прической, все впору, все в меру. Она ловко мне поклонилась, подала руку и просила сесть. <...> (В дальнейшем девочка изъясняется на смеси русского и французского языков. — В. Б.).

— Маман пока нельзя видеть, мадам, она вчера очень поздно приехала... она была у Бартеньевых... у них был костюмированный бал. Но тетушка Мери сейчас выйдет... вам будет здесь удобнее... вот так... — И она ловким жестом подкатила ко мне низенькое кресло.

Я не знала, с чего начать с этой миленькой барышней; ее апломб меня смутил.

— Как здоровье ваших милых дочерей? Они у вас такие хорошенькие, в особенности Варя... Маман находит, что она будет очаровательна, когда ей будет шестнадцать лет... Я была бы очень рада их видеть, но ведь вы их никуда не вывозите?..

— Нет, они бывают...

— Как же это случается, что мы нигде не встречаемся, исключая мадам Критской?..." и так далее.

М. К. Цебрикова, которую, за нехваткой средств, чтобы нанять гувернантку, воспитывали мать с теткой, сохранила к ним на всю жизнь недоброе чувство, все вспоминала, как они ее "дрессировали": "Не так пошла, села, встала, прибежала, поклонилась; то интонация вульгарная, выражение еще хуже, то улыбка и мимика пошлые. Вечное стеснение, требовавшее быть вечно настороже"; вспоминала она и как жаловалась изредка отцу, а тот лишь отвечал ссылкой на заповедь повиновения старшим.

Поэтому хотя роль гувернеров была незавидной, но они избавляли родителей от докучной и утомительной обязанности непрерывно следить за поведением детей,

досаждают им бесконечными замечаниями и тем самым теряют в их глазах часть уважения, которое полагалось испытывать к родителям.

Умение держать себя воспитывалось и в результате подражания и наблюдения за окружающими. После домашней выучки "посещение хороших домов" и общение особенно со светскими дамами считались наилучшей школой для молодого человека, помогавшей окончательной шлифовке и дополнявшей теоретические во многом познания живой практикой.

Людам же не "из общества", даже если они знали правила поведения, сложно было усвоить себе подлинно светскую непринужденность — они вели себя в гостиных либо скованно, либо слишком развязно, а все из-за недостатка практики.

Еще одной серьезной обязанностью гувернеров становилась, особенно в подростковом возрасте, забота о "нравственности" воспитанников. В первую очередь это касалось девочек, для которых целомудрие считалось самым главным качеством, наряду со скромностью, послушанием, религиозностью, привлекательной внешностью, влиятельной родней и хорошим приданым.

С наступлением подросткового возраста и сама девица, и ее воспитатели должны были удвоить усилия для охранения ее репутации. Ее поведение и манеры должны были быть безупречны. Она не могла остаться наедине с чужим мужчиной, даже старым и женатым, одна выходить на улицу и появляться в общественных местах — ее обязательно сопровождали гувернантка и лакей или родители, старшие родственники, взрослые близкие знакомые и т. д. (этот запрет ослаб только после 1860-х годов). Привычка не выходить без сопровождения укоренялась настолько, что не только молодые замужние женщины, но и очень пожилые

никогда не покидали дома без сопровождения мужа, брата или, чаще, лакея.

Девушка не должна была самостоятельно, без ведома родных, переписываться — даже с подругой (вспомним отца и дочь Болконских) и всегда находилась в поле зрения старших. "Когда девица отправлялась к своей подруге, то при ней неотлучно должна была находиться гувернантка, присутствовавшая при беседе юных подруг, дабы в ней не проскользнуло что-нибудь нескромное", — вспоминал князь В. М. Голицын.

Во многих домах в этот период переставали приглашать ровесников детей мужского пола, а особо осторожные взрослые даже запрещали все "щекотливые" слова и выражения, переставали говорить при детях о свадьбах и помолвках, употреблять слово "жена" и т. п. Доходило до смешного. М. В. Беэр вспоминала, что уроки истории слушала вместе с двумя подругами, одна из которых, двенадцатилетняя, была на два года моложе. "Соня Шаховская была очень резвая, живая и очень наивная девочка. Помню, как отец, рассказывая нам о Ярославле, сказал, что его жена умерла в родах. "Василий Алексеевич, что это такое "в родах"?" — спрашивает Соня Шаховская. Отец, всегда такой скромный, деликатный, испугался и, растерявшись, говорит: "Вы не расслышали, в рогах, это такая болезнь"".

В середине XIX века педагоги стали говорить об индивидуальном воспитании, о необходимости растить из ребенка сознательную личность с собственным характером. Новые воспитательные приемы, не отменяя внешней "выправки", без которой, как по-прежнему считалось, не могло быть порядочного человека, все же больше внимания обращали на нравственную и умственную стороны воспитания. Теперь и "выправку" старались детям обосновать, объясняя, почему следует вести себя так, а не иначе, говоря, к примеру: "У

достойного человека кругом должен быть порядок — в голове, в делах, в комнате, в костюме, в манерах".

Между шестнадцатью и восемнадцатью годами барышня начинала выезжать в свет и очень скоро выходила замуж. Затягивать с этим делом не рекомендовалось, чтобы не остаться вековухой; уже года в двадцать три девушка считалась перестарком. С этого времени все заботы о молодой женщине полностью переходили из родительских рук в руки мужа.





В пятнадцать — восемнадцать, много в двадцать лет юный дворянин поступал на службу государю императору, который и становился с этих пор его главным начальником — конечно, если не считать "отцов командиров" и благодетельных столоначальников. Родительская власть, все розги и ласки оставались дома.

Провожая дочь в замужество или сына на службу, отцы, как правило, говорили какое-нибудь напутствие. К примеру, как отец Петруши Гринева: "Служи верно, кому присягнешь... на службу не напрашивайся, от службы не отговаривайся и помни пословицу: береги платье снову, а честь смолоду". Или как отец Михаила Загряжского: "Ну, спущен корабль на воду; отдан Богу на руки".

И "корабль" отправлялся в самостоятельное плавание.

Дворянское воспитание имело много достоинств, но и немало недостатков. Их прекрасно видели сами современники и в XVIII и XIX веках много писали о чрезмерной "галломании", увлечении всем французским, особенно языком, об ограниченности преподаваемых маленьким дворянам познаний, о слабых сторонах "этикетного" воспитания. Все это было справедливо. Но если судить о воспитательной системе по приносимым ею плодам, лучшего воспитания, нежели дворянское, в России, похоже, все-таки не было. И, вспоминая сейчас о лучших русских поэтах и писателях "золотого века", о героях 1812 года, о декабристах, о славных мыслителях и дипломатах, о нежных и преданных женщинах, глядящих на нас со старинных портретов, не будем забывать, что их слава, таланты и очарование — плоды не только природной одаренности, но и особого, дворянского воспитания.

---

## notes

## Примечания

**1**

Домашняя бухгалтерия (фр.).

**2**

Тюфяк (разг. фр.).

**3**

Уваленъ (разг. фр.).

**4**

Говорите ли вы по-французски, месье? (фр.)

**5**

Превосходно, очень хорошо, хорошо,  
удовлетворительно, плохо и очень плохо.



**6**

Тихо! (фр.)

**7**

Говорите же по-французски! (фр.)